Янка Брыль

Иду в родное

Рассказы

Издательство «Детская литература»

Ты мой лучший друг

Шумело море...

Сентябрь тридцать девятого года.

Темная, мокрая ночь на западных подступах к Гдыне. Слева, вдали, горит большая кашубская деревня. На фоне пламени зловеще торчит башня костела. Недавно там засел третий пулемет нашей роты. Там сейчас толстый, спокойный Кубата, катовицкий шофер, с целым портфелем, как мы когда-то подшучивали, материнских писем за пазухой. Там здоровенный Петрик Любка, от тихих ночных рассказов которого пахло родным белорусским сеном... И это было тоже, кажется, когда-то, в далеком прошлом. Когда мы лежали рядом на втором ярусе казарменных нар, под зелеными жесткими одеялами, и шептались перед сном, иной раз чуть ли не до полуночи.

Ну и «тактика» – поднять на колокольню костела, освещенного пожаром, да еще перед самым носом противника, один-единственный станкач, оснащенный двумя лентами патронов и жестким приказом: задержать врага со всей его наземной и воздушной техникой...

Что ж, мы должны были совершать и не такие чудеса. За три дня до начала войны наш пулеметный расчет сидел на чердаке одинокого домика у самой границы, отделявшей от нас территорию «вольного города Гданьска», который давно уже стал фашистским плацдармом. Туда мимо нашего дома шла неширокая мощеная дорога. На границе над этой дорогой торчала вверх полосатая жердь шлагбаума. Именно он, этот шлагбаум, при поддержке нашего «максима» должен был задержать первый натиск фашистов. Рядом с «максимом» лежал на столе, в виде тонкой брошюрки, приказ командующего обороной Приморья: «При появлении врага – закрыть шлагбаум и огнем сдерживать первый натиск до подхода подкреплений...»

Правда, плютоно́вый[1] Возняк, посланный туда с нами, – этакий толстенький пожилой и веселый селезень, выпивоха, который за десять лет службы то возносился до чина сержанта (старшины), то падал до капрала, а сейчас как раз носил промежуточный чин, занимал золотую середину, разъяснил нам этот приказ по-своему.

– Дерьмо отца всевышнего, – сказал он, заглянув в брошюру, – слушай мою команду! Увидишь врага – чеши за третью гору, там бахни разок пану богу по окнам – и дальше, взяв ноги в руки, до самых казарм!.. Ну, у кого есть деньги? Кто пойдет на деревню, в

---

[1] Плютоновый – старший унтер-офицер.

лавку?..

Расчет, который сменил нас там в ночь на тридцать первое августа, действовал потом согласно приказу. Шлагбаум был закрыт, однако вместо предусмотренного инструкцией врага в пешем или конном строю туда ударил артиллерийский залп, один и другой, после чего мимо развалин домика прошли автоматчики.

Такое же чудо произойдет утром и на колокольне костела, как только Кубата и Любка подадут оттуда голос…

Впрочем, называемся мы довольно грозно – первый расчет штурмового пулеметного взвода. Первый номер расчета, шахтер Ян Филец, – лучший пулеметчик нашего морского батальона. Ничего, это пустяк, что у нас всего две ленты, пятьсот патронов…

По листьям брюквы, в которой мы залегли под пригорком, монотонно барабанит холодный дождь. В окопчиках, вырытых на скорую руку, собирается вода и при каждом движении под коленями чавкает грязь. В зареве пожара поблескивает мокрая ботва и чья-то каска. Справа, под обрывом, море. Неспокойное, оно рокочет как-то особенно мрачно. Над обрывом так же мрачно и нелюдимо в бурьяне и кустарнике шумит ветер. Шершавым языком тоски проводит он по перелогу, бурьяну, картофельному полю, гнет и теребит листья брюквы. Время от времени взлетают немецкие ракеты и медленно опускаются над берегом и водой широкими зонтами синеватого света. Тогда видно, как на пригорке, перед которым – тоже тактика! – стоит наш прикрытый одеялом станкач, отчаянно борется с ветром сухая картофельная ботва. Ясно, до жути, видишь, что это замахиваются вражеские руки длинными колотушками гранат…

А море шумит…

Сквозь шум его равномерно и монотонно пронизывает душу вопль сирены – с дальнего, одинокого в мглистой тьме маяка. Протяжный, скорбный крик!.. Это не хочет умирать наш порт, на который, чуть только рассветет, снова обрушатся бомбы. Это не хочет умирать наш окровавленный, прочесанный смертью гарнизон, окруженный со всех сторон врагом, но все еще не сломленный в неравной борьбе.

Еще недавно рекруты – всего лишь полгода назад, – теперь, на третьей неделе войны, мы уже солдаты, обстрелянные до того животного безразличия, когда можно жевать и спать рядом с трупом товарища.

Только время от времени встает перед глазами родное лицо старушки в валенках и расстегнутом кожухе… Она все идет за санями, которые когда-то, давно… не полгода, а целую вечность назад, везли тебя до первой железнодорожной станции. Идет,

спотыкается, наклонилась против ветра. Уже не только слез, но и лица ее не видать. Нет, ты видишь сейчас и эти слезы, и этот образ – единственный, неповторимый. Ты крепишься, хочешь подняться, подымаешься до мыслей о фашизме, о нашей справедливой войне, но он все же возвращается, этот образ... И вот ты без слов, но с отчаянием, недоступным этой одинокой сирене во мгле, кричишь, протестуешь всеми силами молодой души. Польский солдат, белорусский хлопец, ты повторяешь предсмертный крик твоего далекого старого друга, героя гаршинского рассказа, который и ты когда-то читал: «Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страдание людям войну!..»

Утром мы неожиданно пошли в наступление.

Цепь наша растянулась от моря – справа, до горизонта – слева. Но цепь эта редка. Так же редок и огонь легких орудий, поддерживающих нас. Однако и это тявканье подбадривает. «Максим» не собран: Филец несет ствол, я сгорбился под станком на полозьях. Штыки стрелков, идущих по обе стороны, тоже выглядят довольно внушительно. Нас, кажется, не удивляет и то, что враг молчит. Подбодренный этим молчанием, наш капрал, резвый красавчик Войтыга, кричит, что вечером, пся крев, мы будем в Берлине!..

Да что капрал!.. Мне невольно вспоминается капитан, командир нашей роты, солидный очкастый бирюк, его речь перед строем накануне боев: «Когда будем брать их города – не напиваться!..»

Сигнальные ракеты придерживают наше правое крыло, выравнивая линию наступления. Тогда становится видно, как одни из ребят, католики, преклоняют колено и торопливо крестятся над молитвенником, а другие, присев на корточки, не менее нервозно... освобождаются от лишнего груза. Снова идем. Вязнем в размокшей пашне, шелестим картофельной ботвой, выворачиваем мокрые кочаны капусты. Проходим одну, вторую деревню... Пустые. За огородами третьей кашубской деревни – широкий низменный луг. Редкие вербы. Торфяные ямы, полные воды. Пасутся коровы – их много, и бродят они на свободе, без пастухов.

Здесь и кончается наш триумфальный марш.

За лугом – высокие холмы, на склоне которых засел в окопах враг. Оттуда на нас сразу же обрушивается огонь артиллерии. Мы лежим на мокрой траве. Даже лопатки не у всех есть... Снаряды молотят нашу цепочку в течение нескольких долгих, бесконечных минут... или часов?.. Слышен весь их путь: от орудийных стволов – по траектории – до разрыва. Один, второй... двадцатый... сотый... Бес-

шумно прилетают и особенно страшно разрываются «телята» морской артиллерии, к которым мы никак не привыкнем. Нам слышно, как вдруг отрывисто заревет, точно ахнет, задетая осколком корова. Если не убита наповал – снова щиплет траву с каким-то до ужаса мудрым, непонятным спокойствием. Капрал наш, забыв уже и думать о Берлине, тычется лицом в траву и время от времени вслепую кричит: «Огонь!» Я лежу за вербой, рядом с которой установлен наш старый, образца 1908 года, станкач. Флегматичный Филец и сейчас, кажется, спокойно выбирает цель… Признаться, это нетрудно: в окопах немцы стоят и ходят во весь рост, что нам хорошо видно и без бинокля.

На этом мокром лугу у моря мы не можем даже применить прием, который – я читал об этом – использовали абиссинцы против итальянских фашистов. Этот луг не подожжешь, как африканские джунгли, да и ветра нет, чтобы погнал пламя на врага. Общее только то, что мы почти так же беспомощны, как были абиссинцы…

Станкач наш время от времени стучит, вздрагивает, отдавая последние патроны. Я их тоже пересчитываю, пропуская между пальцев ленту.

Капрал Войтыга, не подымая носа из травы, в который раз спрашивает:

– Отступают?

Филец ругается, уже потеряв спокойствие, бросает свое силезское:

– Побей меня гром, как бы не так!..

И вот наконец всё – патроны кончились. Мы остаемся только с кинжалами. По уставу нам полагаются пистолеты, да как бы не так, побей меня гром! – когда и винтовок всем не хватает!..

Солдат не посвящают в тайны военного хозяйства. И нам неизвестно, почему так получилось: объявили мобилизацию да и сам народ встал, и вдруг – нечем вооружить! Хотя бы винтовки!.. Ну, а куда девался весь флот, опираясь на который паны крикливо домогались колоний в жарких странах? Почему не летают даже те самолеты, которые мы изредка видели в небе перед войной?.. Ничего мы не знаем. Мы можем только недоумевать да возмущаться – шепотом или про себя. Мы знаем только, что нас мало, что после каждой стычки нас становится еще меньше, что враг испытывает на нас все виды и калибры своей могучей техники, что он недосягаем для наших штыков и кинжалов…

Отдав станкачу последние патроны, я переворачиваюсь на спину и в ту сторону, откуда мы пришли, показываю пустой ящик. Раз, второй раз… Еще и еще… Там где-то третий номер, кашуб Конке,

гдынский ломовой извозчик.

Он не отвечает на мой SOS.

И я ползу туда сам. Все мы длинные, весь наш батальон, подобраны, очевидно, для парадов – по росту. Ползти по открытому лугу на глазах у врага, да еще такому дылде, – немыслимо. И я бегу, лавируя между коровами, под музыку разрывов и осколков.

Конке лежит на огороде, поперек гряды, лицом в землю, и последние капли крови вытекают из раны на животе в борозду. Рядом, среди головок капусты, – патронный ящик. Сначала я вспоминаю, что это последний, а потом, подняв его, слышу, как шуршит внутри пустая лента…

Вернуться на линию не пришлось. Товарищи встретили меня за капустой на лугу.

Это была уже не прежняя редкая цепь, а малые остатки ее.

Первым бежит капрал.

– Немцы! – кричит он. – Немцы! Назад!..

За капралом – Филец с тяжелым пулеметом на плечах. Следом в густых предвечерних сумерках вырисовывается несколько движущихся силуэтов, и впервые долетает оттуда, доходит до моего сознания крик: «Хенде хох!» Сворачивая за угол кирпичного хлева, капрал Войтыга кувырком летит на мокрый булыжник с отчаянным криком:

– Братья!!

На бегу замечаю кровь на его щеке; вижу, как он хватает ртом воздух…

Другой голос догоняет нас с Фильцем на улице.

– Хлопцы! Спасите! – кричит Совинский. Он еще бежит, припадая на одну ногу.

Совинский – из стрелковой роты, я его мало знаю, но в крике его мне слышится последний призыв капрала: «Братья!» Филец вытаскивает голову из пулеметной рамы, с грохотом сбрасывает наш станкач на дорогу, видно не думая даже о том, что и уставом это предусмотрено. Мы хватаем Совинского под руки, бежим, а он обвисает, становится тяжелее с каждым шагом. У гумна замечаю конные грабли с тонкими, плоскими оглоблями. Подпрыгиваю на одной из них, она наконец с хрустом лопается. Снимаем пояса, застегнув, вешаем их на плечи, продеваем обломок оглобли, сажаем на него Совинского и снова бежим. Шеи наши охватывают судорожно сжатые руки товарища. Слова его переходят в какой-то слабый, почти детский лепет, мольбу, ласковое бормотание, которое болью отзывается в сердце…

Позади долго трещат автоматы. Вокруг нас, все еще минуя наши широкие тройные плечи, поют пули. На картофельном поле вокруг

тяжело шлепаются мины и ядовито звенят осколки.

Дальше, за пригорком, навстречу нам – подмога. Цепь, как и у нас сегодня утром, редкая. Бескозырки матросов, каски, пилотки пехоты, штыки наши и штыки французские – может быть, еще из-под Вердена, – тонкие, длинные… Все это в стремительном наступлении обращено вперед.

Все вокруг – и стрельбу и разрывы мин – покрывает наше «ура». И слово «братья» слышится в нем уже иначе, и слезы сами катятся по моему грязному, давно не бритому лицу… Может быть, и эти не вернутся, а все же мы – сила, мы еще сила!..

Глубокий темный овраг с кустами и деревьями на склонах. «Бабий яр», который через несколько дней станет последним опорным пунктом, местом кончины нашего гарнизона. Гдыня, узнаем мы здесь, уже захвачена. Для наших раненых остался только этот вот дом с белым полотнищем на крыше. На полотнище – огромный красный крест, который, однако, не спасает от фашистских авиапулеметов.

Раньше здесь был заразный госпиталь. В темноте можно заметить выброшенные из палат сенники, много носилок. Стоны и – еще страшнее, чем эти стоны, – молчание под дождиком. А когда мы проходим со своим окровавленным грузом, с каких-то носилок нас окликает тихий, странно спокойный голос:

– Коллеги, спички есть?

Это один из тех, кто молчит, и на носилках оставаясь солдатом.

На крыльце госпиталя нас встречает молоденькая девушка в белом халате санитарки и вся в ореоле света из коридора. Косынка с красным крестом на лбу так близко от железного канта моей каски, а глаза, полные слез, еще ближе, проникают в самое сердце.

– Ребята, родные, вы их не пустите сюда?..

Она берет с тарелки, которую держит в левой руке, пирожное и сует нам, как детям, прямо в рот. И мы жуем.

– Побей меня гром!.. – глухо бормочет Филец. И обрывает, чудится мне, со всхлипом.

К черту слезы! Нет, дорогая, мы их не пустим!..

Это мы сказали и Совинскому, когда уложили его на полу госпитального коридора под крики и стоны раненых.

Об этом мы думали и позже, когда снова лежали возле другого станкача на том пригорке, где нас встретило вечером «ура».

И опять слева от нас мокли под дождем бессонные товарищи, а справа, под обрывом – уже другим – шумело море и вопила в мглистой тьме сирена маяка…

На третий день пришли разгром и неволя.

Кровь на стене

Сперва было нас несколько сот. Мы – морская пехота, просто пехота и прочее воинство. Все, что уцелело, что могло идти. Гнали нас по знакомой дороге. Польские дети давали нам яблоки, хлеб, польские матери плакали. Следующие сутки, уже на вражеской земле, нас везли в переполненном товарняке, без пищи и воды, под замком. Пять суток морили за проволокой шталага, где нас собралось уже несколько тысяч. Переписали, разбили на группы, дали каждой группе конвой, вахмана или двух, и – марш на работу.

С этого дня стало нас двадцать. Из разных полков. Кадровики и пожилая «резерва».

Нас привезли в имение, где над вековыми липами дымила труба пивоваренного завода и тошнотным духом браги было насыщено все вокруг – от жестких, как пересохшее мочало, усов зубатого винокура до серых стогов прошлогодней соломы далеко за гумнами.

Пути от полустанка до имения – не больше километра, а конвоировать нашу арбайтскоманду[2] вышло их, швабов, человек пятнадцать. Охотничьи ружья. Мушкеты какие-то, должно быть, еще времен Фридриха Великого. Нагайка со свинцовым шариком на конце (ею вооружился как раз этот самый винокур). И автомат. Сынок эконома, наголо остриженный щенок в форме гитлерюгенда, держал его на боевом взводе, палец на спуске.

Встречали нас, видно, все, кто уже или еще мог ходить. И все пялили на нас глаза, улюлюкали, словно мы самые настоящие разбойники...

Мы думали, чудаки, что здесь нас наконец хоть немного покормят («Немец сперва даст поесть, а потом спросит работу», – говорили когда-то пленные первой мировой войны). А нам дали большие металлические корзины, трехзубые мотыжки и погнали в поле. Уже не по-праздничному, без шика – только наш вахман и эконом. Картошка начиналась за садом, а кончалась она там, где, как в сказке, небо встречается с землей. Заводу картошка нужна, а уже октябрь идет – запаздываем. Так говорил эконом вахману.

И вот потянулись мрачные дни. Без счета нескончаемых борозд опо́лзали мы сырыми коленями, без числа корзин картошки выгребли из земли. А сколько же бессильной ненависти, горькой обиды претерпели, истерзанные голодом, холодом, издевкой, тоской!..

Об одном память легка и светла – о дружбе.

---

[2] Арбайтскоманда – рабочая команда.

Недавний наш ротный кухарь Збых – теперь уже не в белом колпаке и не с такой красной «обливной» ряшкой – самоотверженно обжигал руки горячей картошкой, выкладывая ее из котла на длинный стол, и не бывало случая, чтоб кто-нибудь из нас получил пять картофелин, если на другого приходилось четыре с половиной. Так было по вечерам. Утром суточный хлебный паек, по двести граммов, он делил с той же аптекарской точностью. Так же было с обеденной бурдой, которую мы ели без хлеба всегда в поле. Вечерами на нарах холодного сарая, при слабенькой лампочке (и на электричестве экономили) мы резались в карты – самодельные, конечно, – бурно, но безобидно, чаще всего по пустякам, спорили, смеялись, пели, а потом каждый в особицу видел сны про волю и хлеб. Казик Халупка что ни ночь кричал и плакал во сне, все повторяя «мама» и «Зося»... Крик этот часто будил кого-нибудь из товарищей, тот иногда даже включал свет и, съежившись, долго сидел на соломе. За дощатой переборкой, отделявшей нас от конюшни, мерно жевали и фыркали лошади, побрякивая уздечками. По черепице монотонно поклевывал бесконечный осенний дождь. А в углу над вонючей парашей вражеской издевкой тускло поблескивало большое, рябое от проталин зеркало. Просыпался еще один, другой, перебрасывались словом, тушили свет и опять затихали. На рассвете гремел замок, и раздавался осточертевший вахманский голос...

Копая картошку, мы тщательно держали ряд, никто не высовывался и на полноса вперед, как ни старались нас подзадорить брехливые, наивные батрачки, как ни орали эконом или вахман вечное «польнишес швайн».

Позднее, однако, среди нас объявился гад: пожилой пехотинец, унылый Флис, «резерва», из тех познанцев, что говорят немного по-немецки. Он стал вырываться вперед в работе, все нахальнее и нахальнее огрызаясь на наши одергивания; пошли у него какие-то шепотки да хахоньки с вахманом, и даже со своими он уже сбивался не только на язык, но и на мысли наших хозяев. Те его, известно, скоро заметили и начали ставить нам в пример, как образец благодарности и трудолюбия, как доказательство, что мы – недотепы и даже саботажники.

И вот как-то днем эконом забрал Флиса с поля и повел в недалекую деревушку. Вечером Флис вернулся в наш сарай один, без вахмана, прямо-таки мурлыча и сияя от счастья. Он будет работать у тестя самого герра эконома! Он будет ходить туда один и возвращаться, как сегодня, тоже один!.. Он нажрался по самую затычку, этот рабочий гитлеровский бугай, да еще с собой принес бутерброд и

долго, давясь, чавкал, лежа на спине…

Так и пошло изо дня в день. Счастье распирало его. Он мог часами бубнить обо всех событиях дня, о каждом съеденном куске, о каждом шаге своих бауэров… Его, конечно, обрывали. Он, случалось, огрызался, а не то трусливо молчал, даже, несмотря на страх, хитро улыбаясь. Однако хуже было то, что кое-кто из наших хлопцев стал помаленьку сдаваться, приметно завидовать ему. Голод…

Но тут взорвался боцман Антони.

Он был младший механик с «Вихря», моряк. Заболел в августе, и война застала его на суше. В неволе Антони как будто временно снял с себя заработанное многолетней службой звание и стал просто старшим товарищем, которого любили за скромность, за улыбку и за рассказы о рейсах в края невероятных приключений, в том числе, разумеется, и самых заманчивых – с чужеземными красотками. Рассказов этих у него было столько, что мы привыкли и засыпать под его добродушную бормотню, и просыпаться, и снова засыпать… Бывало, слушаешь его, задремлешь, снова проснешься, а он все сидит у чугунной печки, глядит на огонь и мусолит-покуривает трубочку с немецкой «сечкой». Приподымешься на локте и скажешь ему (мы все, много его моложе, были с ним на «ты»):

«Что, Антони, поезда ждешь?»

А он улыбнется по-своему грустно, ласково и тихо ответит:

«Да, брат, ку́рчэ печо́нэ…»

Этим «жареным цыпленком» он заменил для себя всю ту неприкрыто грубую брань, которой мы еще в казармах были, казалось, безнадежно заражены.

Так вот, Флис хвастал своими хозяевами. И бауэр очень хороший, и фрау добрая, и невестка тоже. Их единственный сын был где-то на войне, командиром батареи, а женка его, эта самая невестка Кетте, ходила сперва тяжелая – он и об этом не раз говорил, – а потом родила мальчика. Командир батареи вскоре, уже в начале зимы, приехал в отпуск с французской границы. И тоже был очень хорош с Флисом. Даже руку ему герр лейтенант Горст подал, даже позвал в спальню и похвалился наследником…

Да если б только это! Когда он, Горст, стал родителям и Кетте показывать свой фронтовой альбом, позвал он также и Флиса со двора.

Альбом – с польского фронта. Там были очень хорошие – «чистые», говорил Флис, – снимки разрушенных городов, сожженных деревень, трупы солдат, женщин, детей. «Много таких всяких снимков», что сам герр лейтенант снимал, а что снимали другие его аппаратом. То он, герр лейтенант, на марше, верхом, впереди своей

батареи. То он рукой команду подает: «Огонь!» То он потом смотрит, любуется, что натворил. Руины, трупы – и он среди них.

– Эти снимки, – рассказывал наш бубнила, – ну, те, где он сам, Горст поувеличивал, пять штук даже под стеклом привез, в рамочках таких… И поразвесил в доме. Один так прямо над кроватью у Кетте, в самых головах… А она…

– Мол-чать! Ты мне… – Антони, у печки, вскочил. – Он твоим горем… кровью нашей – стены свои…

Антони даже задохнулся.

Мордатый Флис на нарах осел глубже в солому, сгорбился. Умолк. И смотрит на Антони, на нас, будто впервые понял, что он – еще здесь, что он – один против всех…

Потом все пошло по-прежнему, когда он снова оправился, – назавтра, вообще в дальнейшем, – а в тот вечер он свял и раскис, как дерьмо. Прямо гадко глядеть. Впрочем, и потом он не стал лучше, только затаился. Но это – позднее…

А в ту ночь, когда все уже спали, а я проснулся, как от толчка, Антони все еще сидел у печки. Я встал и подошел к нему. Сел рядом, на другой табуретке. Антони мусолил-потягивал свою трубочку, хотя она, кажется, уже давно не дымила, и пек на раскаленной докрасна печке нарезанную лепестками картошку.

– Бери, Владек, ешь, – улыбнулся он. Опять прежний – спокойный и добрый.

Я молчал. Даже поблагодарил только кивком, взяв горячий, хрусткий ломтик.

– Тебе не холодно?

– Нет, – покачал я головой.

Солгал. Потому что плечи под вовсе прохудившейся сорочкой еще подрагивали от холода, подступившего к нам со всех сторон и сверху.

– Согреешься малость…

Он, видно, понял, что и встал я, и молчу неспроста… И погодя он заговорил:

– Над изголовьем… Слышал?

Я все молчал в ожидании.

– Ты на Оксы́вской Кэ́мпе был?

– А где ж мне было быть? – ответил я наконец чуть не со злостью.

– Был, так и знаешь, как было. Дня за два до конца. Уже вовсе ни оружия, ни надежды, ни порядка… Ночью все еще бросали горсточки людей на их окопы. А замену передней линии вели, курчэ печонэ, днем, под обстрелом в тыл отходили. Впрочем, где там был

фронт, где тыл? Как на смех, прижали нас – этакой силой! – к морю, а тут у тебя одна винтовка – и на пушки и на самолеты. Як бога кохам, сам видел, как один резервист каблуком отбивал затвор карабина. Кажется, итальянского или, может быть, даже римского еще. Вооружили! Шумели только: и сами мы сильны и союзники!.. Что ж, мы, солдаты, делали что могли…

Днем, числа семнадцатого, нас сменили. У Погу́жа. Мы там два дня пролежали. Отошли, как и всегда, под огнем. Остановились на каком-то хуторке. Яблоки ели, даже уселись чистить оружие. А тут на́ тебе: первый взорвался на пашне за забором, второй метров на тридцать правей, а тогда, сам знаешь, как это делается, нащупали – и залпами!.. Пятеро нас добежали до деревни и попрятались в норах. А они по нас, курчэ печонэ, молотят!.. Когда утихло, я – ну, все ж таки старший – вышел из пустого дома, пошел искать своих людей.

Двое сидели за молочным заводом, а двух нашли мы в погребе, вместе с цивиля́ми.

Спустился я туда один. Гомон в темноте – молятся, плачут. Сам знаешь – дети, старики, женщины… Страшно. Привык я немного к темени, вижу – налево от входа, прижавшись к сырой каменной стене, стоит девочка. Маленькая, щуплая, годов пять-шесть. Трясется вся и шепчет следом за остальными:

«Под твою защиту… святая…»

И шептать не может – дрожит…

«Яворский! Сойц!»

Отзываются глухо, неохотно. Стыдно. Не хочется.

«А ну выходи!»

Девочка испуганно отодвинулась от меня дальше, в темноту. Видать, я был все-таки страшный. А что ж – обросший, грязный, как черт, гранаты, каска, карабин… Как живая стоит перед глазами – замурзанная мордочка, плечи дрожат, и подбородочек… А как она смотрела!..

Да, хлопче, мы были солдатами, а все же боялись и мы. Ты как? Может, это и стыдно… Я особенно боялся артиллерии. Страшная власть металла над бедным, слабым человеческим телом… Курчэ печонэ! Как часто хотелось крикнуть: «За что?..» Ну, да это не по-солдатски… Ведь мы не имели права на страх. И мы его…

А девочка? За что по этой головке железом? И по глазам, и по ручкам дрожащим?.. У меня сразу сдавило горло, вот так – от груди вверх. Забыл и о том, что старший в группе. Да, Владек, была у меня дивчина, думал нынче жениться, хотел иметь детей. Не много – такую бы только, как та…

«Кася, не бойся, дурочка, – подала голос женщина в углу. Мать. Она сидела на узле с добром, держала на руках грудного. – Пан бог не позволит. И мати его пресвятая тоже. А этот пан – добрый. Он боронит от немцев. Дай пану яблоко. На!..»

Маленькая взяла яблоко и протянула его мне. Рука дрожит.

«Про́ше», – шепнула чуть слышно.

Мне б тебя укрыть на руках, мне б тебя вынести из этого пекла, а я только сказал:

«Не бойся, девочка. Все будет хорошо».

Болит душа от этих слов… И сегодня, хлопче, все так же…

А тут, сам знаешь, гремят да гремят, рвутся да рвутся снаряды. Как раз когда я взял яблоко и сказал эти слова, совсем близко громом раскололся взрыв, и все мы на миг затихли. Я, как всегда, зажмурился, даже, кажется, присел. Инстинктивно. Девочка бросилась от меня с пронзительным криком:

«Ма-му-ся!..»

Когда же перестали петь – где-то над нами – осколки, в промежутке между взрывами снова зашевелилась жизнь. Опять послышались слова:

«Не бойся, глупенькая. Пан бог и мать его пресвятая…»

О, курчэ печонэ!.. О, шваб!..

Тогда я вышел из землянки один. Стал под деревом, смотрю. Две девки вылезли из этого самого погреба и, покуда я собрался их остановить, побежали. Я крикнул – даже не оглянулись. А тут, словно специально целясь в них, – снаряд. Я инстинктивно упал. Свист осколков, визг девчат. «Ну, есть!» – мелькнуло у меня в голове. Да нет, обе они пролетели назад и нырнули в убежище. Снова взрыв! «Нащупывает! Заметил!..» И вот тут, хлопче… Он таки, видно, заметил. Что ты хочешь, – в Гдыне из окон стреляли по нас, с чердаков. Местные немцы. На деревьях – в поле, по селам – сидели корректировщики. Ты думаешь, почему так метко била их артиллерия?..

Погреб, само собой, обрушился. Два попадания.

Мы уж хотели было уйти, да Зыгмусь уперся, когда стихло: «Нет, откопаем товарищей!» Да и люди собрались, из других нор повылазили, по лопаты пошли.

Почти никого в том погребе не осталось живых. И Кася – тоже… Только мать ее уцелела в углу. Каким-то чудом, словно на горе свое.

Мы вынесли девочку на траву. Мать ее вывели под руки. Села рядом. А грудного – он тоже уцелел – женщины забрали.

Кася, видно, опять стояла у стены… Нет, Владек, я тебе не скажу, как ее… Сойцу оторвало обе ноги, он еще дышал, когда мы его

откопали. От Яворского почти ничего не осталось. А девчушку… Да нет!..

Когда я потом, совсем под вечер, проходил мимо, мать еще все сидела. Сеялась морось, вокруг гремели взрывы, там и сям уже зловеще вспыхивали ракеты. Всех там уже прибрали, убитых. А Касю женщина все не давала забрать. Ее не трогали и не уговаривали. Только прикрыли девочку дерюгой.

Мать – я постоял там поодаль, поглядел – то и дело открывала ее разбитую голову и долго вглядывалась. Потом смотрела куда-то вдаль. И на меня, хотя и не видела, должно быть. И опять на Касю. Опять куда-то… Где враг. Где ее бог… Такими, хлопче, страшными глазами…

Антони умолк.

А я все слышу, как он кричал, задыхаясь:

«Он твоим горем… кровью нашей – стены своя…»

Солнечный зайчик

Провесень.

С неба сеется, словно от сотворения мира, дождь – докучливый, холодный. А вокруг, под серым колпаком из мглы и низких туч, вся земля, сколько видит глаз, принадлежит юнкеру, и вся она густо покрыта кучами навоза.

Мы растряхиваем его тяжелыми восьмизубыми вилами.

Я уже в другой команде, в другом имении. Рядом торчит новый вахман, новый столб, к которому мы привязаны здесь, на вражеской земле. Когда и как порвется эта привязь, неизвестно. Неизвестно также, когда просохнет одежда на истомленных плечах, когда замолкнет в голове унылое гудение голода…

Но вот на темную стену выбегает наш Солнечный Зайчик, наша отрада – подросток Стась Пшэрва, гдыньский доброволец. Он перестает растряхивать навоз и, опершись на вилы, особенно громоздкие в его руках, запевает песню.

Немного в этой песне слов.

– Раньше, когда мы жили в Мазовии, – рассказывал как-то Стась, – матуля и татусь-покойник служили в имении. И матуля пела, бывало, с батраками эту песню. Не помню, как там было, потому что мы уже давно переехали в Гдыню. За куском хлеба. И там матуля тоже пела.

В песне слов немного, да слова эти – простые и горькие, как батрацкая доля. Болят и руки и ноги, болит и душа. «Когда б тебе,

солнышко, пришлось работать на пана, ты не стояло б так долго над лесом – зашло бы скорей...»

Так – в песне, а нам даже солнце не светит. И в задушевном голосе мальчика, должно быть, не меньше беспросветной тоски, чем бывало в песне его матули-батрачки.

Стась поет не впервые, а все мы и сейчас невольно бросаем работу.

Вахману Кумбиру нет дела до наших чувств. Интересы юнкера – интересы государства. И охранитель их кричит:

– Давай! Давай! Проклятые польские свиньи!

– Ага-а! Не нравится тебе такая песня! – оживляется Стась. Он хватает под мышку огромные вилы, и пальцы его уже пошли перебирать по восьми зубьям, как по струнам гитары.

Частушка складывается на ходу:

Не гляди так криво,
Не ори от злости, –
Час придет, и мы вам
Посчитаем кости.

Последние слова песенки мы покрываем дружным хохотом.

– О Пшэрва, Пшэрва! – приседая, смачно смеется кухарь Збых.

А Семен Жарнак, здоровенный неманский плотогон, с наслаждением сморкается и, опершись на вилы, хохочет.

– Елки зеленые! – говорит он. – Теперь бы еще закурить!

Смеется даже серый столб, к которому мы здесь привязаны.

– Пшэрва – фон, Пшэрва – граф, Пшэрва – министр, – говорит он.

И столько идиотского восторга на этой роже, что нам становится еще смешнее.

Но интересы юнкера – интересы «великого райха». Вахман вспоминает об этом и снова как заведенный кричит:

– Давай! Давай!

Тяжелые вилы опять начинают ходить над серой пашней, а друг мой Жарнак ворчит – посылает отборные пожелания всем панам, по милости которых мы тут очутились.

О побеге мы, понятно, начали говорить с первых дней плена. Мечтали об этом вслух вместе, а практическую сторону дела обсуждали по двое, по трое и чаще всего перед сном, на соломе.

В первой арбайтскоманде я шептался с Антони. Он был из Белостока, там жила его мать, одинокая и старая. Сюда, в это имение,

меня привезли в феврале, из лагерного госпиталя, где я пролежал две недели. Тут мне больше всех понравился Семен Жарнак: добрый хлопец, да и земляки. Спали мы рядом. Ну, и шептались. А слева от меня спал Пшэрва. Стась порой шептал с другой стороны. Все о том же.

– Когда я, Владек, собирался на фронт, матуля дала мне вот этот свитер. Еще и брать, дурья голова, не хотел... Владек! Ты спишь? Как она там теперь, моя матуля?.. Я ведь самый старший в семье. Антось мал еще. Где и что он заработает!..

И частушки и звонкий мальчишеский смех куда-то исчезали на всю ночь. Солнечный Зайчик, чтоб не вызванивать зубами, жался ко мне и шептал:

– Владек! Ты спишь? Хорошо вам, белорусам: вам есть куда бежать. А в Гдыне ведь тоже гитлеры, как и здесь.

А кончалось неизменно все тем же:

– Но и я отсюда удеру. Вот увидишь.

– Спал бы ты лучше, – бормотал в ответ Стасю Жарнак.

Мы готовились бежать вдвоем с Семеном и только друг с другом говорили об этом всерьез...

* * *

Пришла весна. Накапливание сил завершалось. Мы начали откладывать хлеб – на дорогу. «Сил» накопили столько, что даже в светлые дни темнело в глазах. За счет этих сил пополнялись запасы хлеба. Один ломтик – паек Жарнака или мой – мы съедали сразу же утром, другой шел в НЗ. Нарушался этот порядок редко – надежда на освобождение почти всегда побеждала голод.

Так прошел апрель. В середине мая я случайно услышал, как пожилой резервист Загродский, хворый рыбак, шептал молодому матросу:

– И от меня там, Ясь, поцелуешь кохануню нашу отчизну... Привет передашь польскому морю...

Словом, ясно было, что собирается несколько групп и каждая хочет вырваться первой: потом начнут стеречь еще круче.

Но Пшэрва, наш Солнечный Зайчик, опередил всех.

Он ушел один, неожиданно для нас и по-детски непродуманно.

Словно в первый раз дохнуло на него соленым ветром недалекой Балтики, словно представилось ему, как ребенку, заблудившемуся на рынке, что, куда ни пойди, все равно попадешь к маме...

На первой дневке мальчик не заснул – от радостного волнения. День показался безжалостно и бессмысленно длинным. И Стась не

вытерпел, вылез из кустов, пошел. Остерегался, говорит, да заметили. Догоняли – убегал, окружили – стал отбиваться камнями…

И вот назавтра, после полудня, его пригнали назад в имение.

Мы втроем под присмотром старого батрака-плотника работали на циркулярке. Часть команды, с одним вахманом, делала что-то в саду, а остальные ребята, с другим, были в поле.

Мы первые увидели Стася.

Его пригнали два вооруженных винтовками молодчика с повязками гитлерюгенда.

В изорванном, вывалянном мундире, без пилотки, окровавленный, Пшэрва едва шел, а подойдя ближе, кажется, не узнал нас. Кровь уже запеклась у него на лице и в растрепанных волосах.

– Где вахман? – спросил один из молодчиков.

Сбежавшиеся уже откуда-то босоногие мальчишки закричали наперебой:

– Он в саду! Вон он идет!

Прыткий желтоволосый ефрейтор Лерхе так спешил выполнить свои обязанности, что не заметил даже, как два молодых героя тыла приветствовали его, рьяно вскинув правые руки. Ефрейтор на ходу снял с ремня карабин и с разгона ударил Стася прикладом в грудь. Мальчик покачнулся и, сделав два шага назад, осел. Оба молодчика с визгом стали пинать его ногами, требуя, чтобы он встал, и вместе с тем не давая ему подняться…

Затем послышался треск мотоцикла. Ехал эконом.

Он поспевал разом всюду. Владения юнкера раскинулись далеко во все стороны от усадьбы. И каждая группа работающих в поле батраков или пленных по нескольку раз на день слышала треск мотоцикла. Если же он затихал, это означало, что эконом глядит в бинокль, высматривает, нет ли где лодырей или саботажников. Ходил и ездил он всегда с клюквой. Колченогая зараза, которого Пшэрва окрестил Гуляйногой.

Теперь, остановившись возле нас, Гуляйнога соскочил с мотоцикла и схватил свою клюку за конец…

Это было уже свыше меры.

Я подскочил к эконому как раз в тот момент, когда он замахнулся. Не знаю, как это вышло, – может быть оттого, что он от неожиданности растерялся, – но вырвать клюку у него из рук я успел. Потом кто-то сбил меня с ног, ударив сзади по голове, должно быть, прикладом, и встать самому мне не пришлось…

Больнее всего, кажется, было то, что остальные наши два товарища – Карпович и маленький набожный Цы́дзик – не бросились

на помощь. Мне от злости представилось даже, а может быть, я это и увидел, как белобрысый Карпович все еще раздумывает, стоит ли вмешиваться, а Цыдзик дрожит и шепотом молится своей «остробрамской»...

Под вечер ликвидировать «восстание» приехал обер-лейтенант с тремя солдатами.

Меня и Пшэрву поставили к стенке. На глазах у товарищей. Скованные командой «смирно», они молча смотрели на нас – две шеренги по девять человек. Мы не видели их: перед нами была только кирпичная стена конюшни, а под ногами, на усыпанной гравием земле, – редкая молодая травка и тоже еще маленькие листья лопуха. Последнюю связь с родным домом – потертый блокнот с тремя фотографиями (писем я еще не получал) – отобрал, вывернув карманы, приезжий солдат. Три серые безмолвные фигуры в касках, надвинутых низко на глаза, – они стояли за спиной. «Наши» пули были уже досланы в патронники.

Месяцев пять назад плютоно́вый Пронь вспоминал как-то в бараке, на перетертой соломе, варшавский май двадцать шестого года – кровавую борьбу пилсудчиков с эндеками за власть. Потом у стен цитадели пилсудчики расстреливали пленных, и Пронь, в то время ефрейтор, командовал отделением. Рассказывал об этом Махорка спокойно, и противно было слушать в темноте его голос: «Четыре пули в один затылок. А парни все молодые, чубатые. Как жахнем, так волосы все лицо и закрыли».

Теперь другой фашист – пружинистый, крикливый обер-лейтенант с черепами на фуражке и воротнике – действовал быстро, и времени для размышлений у нас оставалось немного. Я только вспомнил о своих волосах, и чужая, холодная мысль: «Докуда они достанут?» – вертелась в голове, как последняя нить, связывающая меня с низким солнцем сквозь тучи и с залитыми его светом кирпичами, покачивающимися и рябящими в глазах. А по спине бегали мурашки. Здоровый двадцатидвухлетний организм каждым нервом ждал этот свой последний миг и каждым нервом боялся его прихода.

И вот послышалась команда...

Нет, не нашим убийцам.

Это наших товарищей повернули направо. Они уходят. На прощание жестко хрустят по гравию их стоптанные башмаки.

Опять команда...

Грянул выстрел. Глаза – на какую-то долю секунды раньше – сами закрылись...

Но что это? Неужели и потом не стихает шум в голове? Неужели

и тогда еще можно открыть глаза?.. Я открываю их, и сквозь мглу плывет, покачивается бесчисленными рядами красных кирпичиков все та же стена…

Опять команда…

Меня поворачивают от стены.

Рядом со мной – тот же мальчик с волосами и лицом в запекшейся крови. Перед нами – те же каски, винтовки и серый цвет вражеских мундиров.

Они кричат. Кто-то смеется, и я узнаю: это эконом. Длинное, мертвенное лицо его под кепкой искажено смехом…

* * *

Меня и Стася вахман Кумбир гонит по неровным камням узкой полевой дороги.

По обе стороны – зеленые деревья. За ними – поле. Серенький вечер вот-вот сменится дождливой ночью. Где-то не спит еще немецкий вьюрок. Он такой же нетерпеливый, как и наши – и на окраине Стасевой Гдыни, и в моей деревне под Новогрудком. Все вокруг знает, что будет дождь, что и трава напьется вдосталь, и голове под запекшейся кровью станет легче, а он один, чудак, чирикает – просит пить.

Пускай щебечет. Нам разговаривать нельзя. Даже когда мы посмотрим друг на друга, конвойному кажется это опасным. Он кричит, грозится, что будет стрелять. И ты глядишь перед собой и молча, тяжело шагаешь…

Вахман думает, видимо, так:

«Обер-лейтенанту хорошо – постращал, сел с солдатами в машину и уехал. Ефрейтору Лерхе тоже неплохо: остался с командой и сидит теперь под крышей. А то, может, опять к Марте под перину полез. Ты же гони проклятых поляков в город, в лагерь. Дороги четырнадцать километров, а пройдено меньше половины. И сколько ни кричи на этих бандитов, они быстрее не идут. А дождь вот-вот начнется. Сильный дождь, долго будет идти, и в темноте они шмыгнут с дороги в кусты…»

На самом дне набитого дерьмом вахманского котелка гнездится, верно, и такая мыслишка, что сегодня поляков можно было бы и не гнать, что этот проклятый скаред эконом мог бы послать с ними в город машину… Но большую часть мозгов занимает то, что называется сознанием долга. «Фюрер знает, что делает» – так говорит сегодня первая заповедь. Каждое начальство – скажем, эконом или

тот же обер-лейтенант – лучше знает, чего хочет фюрер, и ему, рядовому Кумбиру, остается одно: послушно выполнять. Черт бы их побрал! Это же все-таки не фронт!..

Должно быть, от этих мыслей у вахмана вдруг делается легче на душе. Он пытается даже шутить.

– Пшэрва – фон, Пшэрва – граф, Пшэрва – министр! – почти кричит он. – Сегодня Пшэрва был немножко капут!..

Мы молчим.

Только дождь начинает наконец идти, не вытерпев, очевидно, бессмысленного кваканья этой серой двуногой твари. Сначала падают редкие, тяжелые капли. Бьют по нашим головам, по булыжнику... Потом, как бы удовлетворенные разведкой, миллионы крупных капель дружно обрушиваются на землю.

Сперва я стараюсь сжаться, втянуть голову в воротник. Хорошо бы припустить бегом до первого дерева, чтобы укрыться под ним от дождя. Но вахман принял бы это за побег. А на таких ногах, как наши, от винтовки далеко не убежишь... Может быть, отойдут немного руки... ноги... голова?..

Гляжу на Стася. Зайчик как будто почувствовал, о чем я думаю, улыбается. С позавчерашнего дня это первая улыбка.

– Добже, – говорит он.

И от этой улыбки, от этого слова, тоже первого сегодня, мне делается легче, как от дождя.

А дождь зарядил надолго. Первый, бурный напор его стих, и, как бы выпущенный на волю этим напором, неисчерпаемый запас теплых капель обильным севом падает на землю. Щедрое небо спокойно шумит, а жаждущая земля готова пить бесконечно. Много силы нужно тому, кто всех кормит, и много ее можно набрать до рассвета. Все вокруг сливается в один сплошной серый, теплый шум, и в шуме этом мне чудятся счастливые тихие вздохи: «Как хорошо!.. Ах, как хорошо!..»

Недоволен только вахман. Свинством, проклятым свинством называет он мокрую серую тьму. Винтовка уже не на ремне, она у него в руках. Чтобы поляки не забывали об этом, он время от времени подталкивает то Стася, то меня штыком...

Когда же один ряд деревьев вдруг поворачивает с дороги направо, на проселок, нам становится хоть отчасти понятно, чего он хочет.

– Рэхтс ран! Направо! – кричит он, и мы сворачиваем с булыжника на песок.

Дорога здесь значительно уже, деревья по сторонам ее кажутся выше, чем на шоссе, и мы как бы входим в низкий темный коридор.

В глубине этого коридора сквозь густую сетку дождя заманчиво мелькнул неясный огонек. Потом, когда мы стали приближаться, все яснее и яснее выступало нам навстречу освещенное окно.

– Пшэрва – фон, Пшэрва – граф, Пшэрва – министр! – снова ожил вахман. – Сегодня Пшэрва был немножко капут. Теперь мы уже пришли, и Пшэрва будет совсем капут. Теперь и Пшэрву, и тебя, проклятая длинная собака, съедят черные негры.

Мокрый глубокий песок под нашими ногами снова сменяется булыжником. Придорожная аллея подошла к густой толпе темных деревьев, меж которых вырисовываются еще более темные силуэты больших строений. Поместье. За окном первого домика, в глубине двора, сквозь дождь и листву видны еще окна.

– Черные негры не здесь, – говорит совсем воскресший вахман. – Здесь живет мой добрый камарад Гроссман. Хальт!

Мы остановились. Вахман постучал в окно. К стеклу сперва прилипло женское лицо, затем оно исчезло, а из глубины комнаты к окну подошел мужчина в белой рубашке. Он откинул крючки, толкнул обе створки окна наружу и высунул чуть ли не под самый дождь лысую голову.

– Кто там? А, Кумбир! С ума ты сошел, приятель, что ли? – И «добрый камарад» залился сытым смехом.

Кумбир и в самом деле был похож на мокрую курицу. Не спасала и винтовка, которую он все еще держал в полной боевой готовности.

– Куда ты с ними, как дурак, в такую темень и дождь?

– Расстрелять надо было, да мы решили, что подохнут сами. В штрафкомпани[3].

– А зачем в штрафкомпани? Мы их сейчас к неграм пустим. К утру одни косточки останутся!

Опять тот же – из самой утробы – сытый, самодовольный смех.

– Хватит ржать, сухой идиот! Иди открывай свою будку.

«Сухой идиот» начал одеваться. У нас на глазах он превращается из веселого толстяка в стандартного вахмана под плащ-палаткой и выходит во двор, уже на пороге включив карманный фонарик. От освещенных окон мы двинулись во тьму. Впереди шел вахман с фонариком, сзади – второй, с направленной на нас винтовкой. Предвкушая счастливую развязку, задний подталкивал то Стася, то меня штыком, повторяя милые шуточки про фона, министра и негров.

---

[3] Дословно – штрафная рота. Нечто вроде концлагеря в лагере военнопленных.

* * *

И вот мы лежим на соломе.

В темноте, высоко над нами, серыми пятнами проступают продолговатые окна в кирпичной стене сарая, сквозь них до нашего слуха доходит все тот же ровный щедрый шум дождя.

Соломы немного. Она намокла от нашей одежды, и мы своими боками ощущаем предательский холод цементного пола.

Не спим не только мы – время от времени в темноте слышно то шуршание соломы, то тихий шепот.

Мы знаем, кто здесь. Как только первый вахман снял со скобы большой замок, приотворил дверь и сказал: «Пожалуйста!» – второй ударами приклада втолкнул нас в открывшуюся щель. Стась обо что-то споткнулся, я налетел на Стася, и мы оба упали. Колючий луч фонарика заставил меня зажмуриться, а сзади послышался голос:

– Что, видите теперь, проклятые польские свиньи?!

Свет фонарика скользнул с наших лиц в сторону.

Головой к стене, крестом раскинув черные, голые до локтей руки, лежал человек. До пояса он был укрыт шинелью. Лица почти не было видно, торчал только подбородок. Из-под шинели высовывалась черная, с серой, более светлой подошвой ступня.

Вахман с фонариком ударил эту ступню сапогом и неожиданно рявкнул:

– Встать!!

Человек на соломе рывком подтянул свои черные руки, оперся на них и сел.

Это был... Да, это был мой давний и добрый знакомый. Над горькой его судьбой и я, деревенский подросток, плакал когда-то, читая одну из лучших книг моего детства. Это был черный дядя Том из страшной, правда, уже из другой, еще не написанной книги о судьбе многострадального народа. Мне показалось, что он, дядя Том, не умер, собирая хлопок американского плантатора Легри, что маршал Петэн продал его сюда – прусским плантаторам.

– Встать, проклятые черные свиньи!

В луче фонарика еще раз заморгали сонные глаза негра, и сноп света скользнул в глубину сарая... На соломе друг за другом сидели черные Томы – солдаты французской колониальной армии. Среди них – несколько белых невольников.

– Шварце нигер, – захихикал Гроссман. – Вот я вам принес поесть. Глядите на это мясо!..

Сначала негры не видели нас. А теперь мы с Пшэрвой мигали от

колючего света и не видели негров. Затем фонарик погас, холодный цемент пола загудел под сапогами вахманов, и наконец большие двери закрылись. За ними послышался скрежет замка, разговор, смех и стук шагов по камню.

Темно и тихо.

Тишина сначала шуршала соломой, потом вдоль стены послышался тихий шепот. И шепот этот был непонятен для нас, как шум дождя и шорох соломы.

Шепот как будто крался по соломе, разыскивая кого-то в темноте… Вот он пошел от нас в ту сторону, по черным головам вдоль длинной стены. Потоптался на месте, шелестя жесткой соломой, вот повернул назад. Идет сюда. Дошел до последнего с краю негра, рядом с которым я лежу. Понимаю: шепот потихоньку распытывает, ищет меня. Да, ищет – протягивает руку и в темноте касается моей головы. Пальцы его переходят с моих волос на лоб, и теплая ладонь останавливается. Нашел.

Дядя Том что-то говорит, спрашивает.

И почему я не знаю его языка? И почему он не может сказать то же самое так, чтобы я понял?..

– Стась, Зайчик, ты спишь? Не знаешь, что он говорит?

– Нет, не знаю, – шепчет он в ответ. – Они, должно быть, говорят по-французски…

А шепот не смолкает. Люди ползут к нам по соломе – оттуда и отсюда… Садятся возле нас, и я тоже поднимаюсь.

– Ка-ма-рад… Ка-ма-рад!..

Одно знакомое слово, как новое прикосновение теплой руки, доходит до меня из этого непонятного шуршания.

– Камарад, кто вы? – шепчет тот же голос по-немецки.

Какую-нибудь сотню слов на этом языке мы уже усвоили за девять месяцев плена. И я отвечаю, что мы – пленные, что товарищ мой – «поле», поляк, а я – «вайсруссе», белорус. Слово «вайсруссе», должно быть, не совсем понятно тому, кто спрашивает. И, чтоб убедиться, он шепчет:

– Москау, камарад?

– Москва, – отвечаю я, и неожиданная гордость горячей волной набегает на сердце.

– О-о-о! – говорит она голосами людей, сидящих вокруг нас в темноте.

Рядом со мной, где лежал дядя Том, снова сильнее шуршит солома. Потом слышно – что-то скрипит, как подошва под тупым сапожным ножом. Плеча моего касается рука, должно быть та самая,

которая тепло лежала у меня на лбу. Я улавливаю так хорошо знакомый и такой желанный запах. Хлеб попадает наконец ко мне в рот. Он так же скрипит под зубами, как скрипел под ножом…

Потом в темноте чиркает и загорается спичка. Язычок пламени выхватывает из тьмы несколько черных и белых лиц. Люди сидят на соломе, на голом цементе. Они глядят на нас. Улыбаются – этот язык всем понятен.

– Арма́нд, – говорит тот, который держит спичку. – Лео Арманд, – тычет он кулаком в грудь. Паренек – белый, совсем еще молодой, как Стась. Спичка в пальцах у него догорает, и парень спешит сказать: – Бельжи́к! Бельжи́к!..

– Бельгиец, – с наивной гордостью объясняет Пшэрва.

Арманд смеется. И тут, пока в пальцах его поднятой руки догорает спичка, я успеваю заметить в другой что-то блестящее.

Вокруг снова темно. Спичка больше не загорается.

Тихо-тихо звучит «Интернационал». Арманд играет на губной гармонике.

«Маленький ты, что ли, мой хороший, бедный Стась?.. Успокойся. Тебе придется еще быть солдатом. И воля придет. Не плачь».

А он не слушает меня. Да, впрочем, я ничего не говорю. Может быть, и он не плачет, а только плечи его вздрагивают под моей рукой?..

…Потом, когда все затихло – и наш разговор без слов, и шуршание соломы, и шум дождя, – в просветах окон высоко над нами начал зарождаться день.

– Владек, ты спишь?

За окнами, слышно, проснулись уже воробьи.

Минута тишины. И опять:

– Владек!.. Я… когда буду убегать… ну, в другой раз… так я тебе скажу. Непременно. Ладно? И пойдем вместе.

– Ладно, спи.

Даже дождь не шумит за стеной. Слышно только – чирикает беспокойный воробей. Сел, должно быть, на окно и рад, что ночь и ненастье позади. Даже думает, верно, что это он победил, потому что, кажется, щебечет именно об этом.

– Владек! А нас… не расстреляют?..

«Чудак ты, хлопче, спрашиваешь, как будто я знаю! Спи».

Я это не сказал, только подумал.

Ну, а уснуть и сам не уснул.

Зозуленька

Ночь выдалась как по заказу: темная, после дождя. За окнами барака, где размещалась наша команда, неумолчно стрекотали кузнечики и над мокрыми копнами хлеба у мощеной дороги грустно шумели березы.

Около полуночи мы выбрались из нашего «загона» на окраине заводского поселка насовсем. Не все, а только трое. Из тридцати наших товарищей большая часть спала после нелегкого труда крепко, а кто проснулся, когда мы собирались, тот либо молчал, либо желал нам счастливого пути, либо вслух выражал свои опасения…

С наивной хитростью мы перешли дорогу, пятясь, как медведи, а потом повернули на восток. Шуршали стерней, брели по свежей пашне, по морю сонных колосьев яри. Шли быстро, удерживая себя, чтоб не бежать, пропускали между пальцами и срывали влажные пшеничные колоски и даже тихо, игриво ржали…

С этих пор мы стали ночными людьми.

Звезды вели нас на восток. Деревенские парни, мы были плохими астрономами. Среди мерцающей россыпи, покрывающей наш высокий потолок, мы прежде всего узнавали Большую Медведицу. Она была у нас всегда по левую руку, а чуть правее Заряницы – утренней звезды – находился родной принеманский край. Туда тянуло нас, как тянет стрелку компаса на север.

На десятую ночь мы шли бесконечным картофельным полем. Брели чуть не по пояс мокрые; ноги спотыкались на бороздах, путались в густой картофельной ботве и неприятно ныли под коленками. В груди тоже что-то болезненно ныло – то ли внутри, то ли снаружи. Терпением мы запаслись немалым, а все же порой хотелось крикнуть: «Подохнуть бы вам с вашей картошкой, проклятые юнкеры!..»

На рассвете у опушки леса мы наткнулись на какой-то одинокий сарай. Рядом с ним стоял огромный серый стог прошлогодней соломы. Искушение было велико. Который уже день мы то мокли под дождем в кустах, то мерзли на голой земле. Осторожно, с той стороны, где стог почти вплотную прислонялся к стене сарая, мы взобрались на соломенную гору, выгребли берлогу и легли. Микола, как всегда, обеспечил маскировку. Затем он прижался ко мне, и, засыпая, я слышал его счастливый шепоток.

Когда я проснулся, солнце стояло еще высоко. Лучи его еще припекали нас сквозь солому, которой Микола притрусил наше гнездо. Первым моим чувством была все та же досада на длинный, бесконечно длинный летний день. В груди першило от сухой и горькой

соломенной пыли, и так хотелось выбраться наружу, идти!.. Но идти было еще рано, а хлопцы спали. И я молчал.

Вскоре издалека донесся гудок паровоза, а потом все ближе стал слышен грохот вагонных колес.

– Поезд.

– А ты уже не спишь?

– Давно.

– И все думаешь?

– Думаю, Владик...

О чем он думает, я не спрашиваю: думаем мы, должно быть, об одном. Это был август сорок первого года...

– Вон он пошел, еще один поезд, – тихо, медленно говорит Микола. – Туда, наверно, на восток. Новые танки повез, новых солдат... Наши там кровью обливаются, а мы...

Третий наш товарищ, Колодка, храпел, спокойно, по-домашнему присвистывая носом. И в этом беззаботном храпе было что-то такое, отчего еще обиднее становилось ждать.

Потом, когда солнечные лучи начали понемногу выбираться по соломинкам из нашей берлоги наверх, все больше и больше краснея, а наконец и совсем выбрались из нее, Микола не выдержал – выставил голову.

– Скоро зайдет, – шепнул он. – Там кто-то еще копается в бураках. Один. А бураков, бураков – елки-палки! Панские, должно быть. Везде паны. Вон какой-то чумазый пополз.

– Не показывайся.

– Думаешь, близко?.. А лес совсем-совсем под боком. А березки какие!.. Точно как у нас... Ведь сегодня суббота: уже никого на поле больше не будет. Ну, Владик, вылазь.

Я послушался и выставил голову.

На запад раскинулась плантация сахарной свеклы. Какой-то мужчина, согнувшись, ходил вдалеке и обрывал ботву. На восток вдоль опушки протянулись четыре струны железнодорожных рельсов. Если б не рельсы да шпалы и щебенка, вереск и березки подошли бы к самому стогу. Солнце заливало их на прощание ярким, обильным светом.

Мы разбудили Колодку. Тот пришел в себя и завел, обирая с лица солому:

– Так-то оно, хлопцы, так. Отдохнуть удалось славно, а вот кабы еще и наесться. А то уже и ноги слушаться не хотят.

Микола усмехнулся, потом, как бы не сдержав нового припадка веселья, хохотнул.

– Чего ты? – спросил Колодка.

– С тебя.

– Какой же тут с меня смех? Что человеку есть охота?

– Известно. Хочешь в старцах жить и водку пить. Ну, садись на сани.

Микола первый съехал вниз.

Вперебежку по одному перебравшись через железнодорожное полотно, мы двинулись лесом смелее.

Такой уж сложился порядок, что я шел всегда первым, за мной почти неслышно ступал маленький и ловкий Микола, а сзади, пыхтя, двигался Колодка, спокойно и бесстрашно, словно в свой Кобрин на ярмарку.

Этот женатый коренастый полешук вообще был великим оптимистом. На дневках спал, дай ему бог здоровья, как медведь. Давеча прокашлял весь день под кустом, а потом оправдывался тем, что «никак же ж не мог удержаться». Шел он, грохоча артиллерийскими сапожищами, и любил на ходу порассуждать вслух. «Сиди себе, сиди, бойся, – говорил он, обращаясь к тем, кто остался в плену. – Ты бойся, а я приду домой, отрежу себе от буханки сколько душа захочет, тогда посмотрим, кому будет лучше…»

Колодка пошел с нами очень охотно, как видно, в твердой уверенности, что эти двое приведут его прямо домой и даже за стол посадят. Что будет дальше – неважно, только бы наконец наесться. На первой дневке он так основательно приложился к нашему хлебному запасу, что его поуменьшилось сразу на несколько дней, а мы с Миколой в первый раз вздохнули.

Выбор был мой, и, грешный человек, если б Колодку выбрал в спутники Микола, я уже не раз попрекнул бы его. Но Микола молча глотал досаду, а потом начал даже посмеиваться.

Но смешного здесь было мало, и смех этот был с горчинкой, а подчас и вовсе горький. Еще такая дорога впереди, а ноги уже не те. Скоро осень, а мы без шинелей… Думали сначала, что в поле голод не страшен: где колосок, где брюква, где картошки испечешь… «Жили же когда-то святые угодники, и по сто лет», – шутил Микола. И мы клевали колосья, охапками набирали на прокосах горох и на ходу лущили стручки, раза три варили в котелке картошку, однажды даже с маслятами. Однако, когда на пятую ночь после побега мы попали в какой-то глухой лес и только через двое суток выбрались на его восточную окраину, Микола пришел к заключению, что святые угодники, как видно, не удирали из плена… Ноги тяжелели с каждым днем. И все чаще скребли по сердцу вздохи Колодки: «Эх, кабы наесться!..»

Вчера на рассвете, выйдя из лесу, нашли мы обрывок немецкой газеты. Судя по дате, которой были помечены две корреспонденции из разных районов, ее обронили недавно, и, значит, печаталась она где-то недалеко. А по названиям районов – Дойч Кроне и Шнайдемюль – можно было сделать вывод, что мы находимся поблизости от бывшей польско-немецкой границы. Открытие особенно пришлось по сердцу или, вернее, по нутру Колодке.

– Я вам говорю, что это Польщ уже, – убеждал он, вперевалку шагая за Миколой. – Доколь же быть Германии – десятый день идем. И в газетке ведь то же написано. И даже земля, сдается, иначе запахла. А коли Польщ, так будем хлебать борщ.

– Похлебаешь, – сказал с усмешкой Микола. – Я целый год отхлебал, хватит.

У Миколы был горький опыт. Он в прошлом году бежал и попался из-за этого самого борща: зашел на хутор попросить поесть, а там как раз солдат, сын хозяйский, в отпуску…

Но для Колодки это был не довод.

– Ну, ты нам об этом который уже раз! Ты ж на собаку наткнулся, а это ведь свои, поляки. Накормят.

– Давай! Разевай рот пошире!..

И вот тогда, как бы для того, чтобы прекратить этот спор, впереди, в лесу, послышалась песня. Хлопцы умолкли, и мы остановились.

Навстречу нам меж осоки и папоротников ползла узкая, извилистая тропинка, а по этой тропинке кто-то совсем юный нес нам польскую песню:

Ты идешь горою,
Ты идешь горою,
А я долиной.
Зацветешь ты розой,
Зацветешь ты розой,
А я калиной…

– А что, не говорил я, а что? – успел раньше всех обрадоваться Колодка.

А затем мы без команды нырнули с тропинки в кусты.

Остановить девочку так, чтобы она не испугалась, было поручено мне. Внешних данных, которые сразу расположили бы певунью в мою пользу, у меня было не больше, чем у товарищей. Позавчера я рассматривал в воде какого-то лесного озерка свое довольно печаль-

ное отражение. Запавшие глаза угрюмо смотрели из-под бровей, как из-под стрехи, а лицо покрывало густое черное жнивье. Однако я стал за березу, и сердце мое забилось так настороженно, как если бы мне нужно было – не только нужно, а совершенно необходимо!– голыми руками поймать сидящую на ветке березы маленькую пугливую птичку…

И вот девочка показалась. Сперва мелькнула между деревьями, скрываясь на поворотах тропинки за зеленью кустов. Она пела, и следом за голосом все приближался, все яснее вырисовывался облик певуньи. Вот за зеленой сеткой листвы, совсем уже недалеко, появилась светловолосая головка. Еще ближе. Пестрое платьице сшито, как видно, давно: тонкие загорелые ноги девочки казались слишком длинными. Не по годам широко она размахивала руками, особенно закидывала назад правую. Руки тоже показались мне длиннее, чем следует. Видно, не по возрасту тяжелый груз приходится ей поднимать…

Песню свою девочка не знала до конца – пропев две первые строфы, она начинала сначала. А голос, совсем еще детский, до боли душевно рассказывал о том, как тяжко расцветать калиной в неволе.

Мне было неполных двадцать четыре года, три из которых отняли панские казармы и гитлеровские лагеря. Столько было тоски по свободе и дум о жизни, так много нежности ко всему родному скопилось в душе!.. И вот идет она – уже не товарищ по несчастью, пленный, не фашист с автоматом, а первая улыбка свободы!.. Так я это почувствовал, чуть не до слез… Девочка уже почти поравнялась с березой, за которой я стоял. Надо было заговорить, а я никак не мог начать. И только тогда, когда ей остался последний шаг, после которого мой голос был бы уже окликом сзади, первое слово с натугой сорвалось с моего языка.

– Девочка, – тихо сказал я по-польски. И, раньше чем она успела испугаться, прибавил громче: – Я свой. Не бойся.

А она все-таки испугалась. Загорелые тонкие ножки задрожали, казалось, совсем явственно. Но ненадолго. На губах и в глазах появилась несмелая улыбка, она осветила ее лицо, и вот, как последнее доказательство, что девочка признала во мне своего, она сказала:

– Дзень добры!

Я протянул руку. Девочка не задумалась ни на миг: маленькая ладонь, на которой я почувствовал мозоли, и все пять теплых пальчиков спрятались в моей грязной большой руке.

– Пан ест наш. Пан уцека з неволи. Позна́лам одразу.

Большие светло-голубые глаза глядели по-детски доверчиво, наивно. А слова ее «позна́лам одразу» говорили о том, что подросток

начал входить в тот возраст, которому к лицу бывает безобидная, милая ложь. Потому что не сразу девочка признала меня; сразу она просто испугалась. Она испугалась опять, когда в кустах, где сидели Микола и Колодка, послышался шорох.

– Ой, что там? Что там, проше пана?..

Я не успел ее успокоить. Из-за куста высунулась медвежья фигура Колодки.

– День добрый, дочка, день добрый! – громко говорил он на ходу. – Не бойся нас – свои! Ну, как живешь?

Девочка поздоровалась с Колодкой за руку и, выглянув из-за его плеча на новый шорох в кустах, увидела Миколу.

– О, еще едэн пан! – сказала с улыбкой.

– А, боже мой, какой он пан! – удивился Колодка. – Хлопец едва ноги волочит, а она говорит – пан. Голод, моя кохана, не тетка.

Микола был явно недоволен такой рекомендацией. Со свойственной ему живостью он поздоровался с девочкой, как кавалер.

– А как паненочку зовут?

– Ядзя. А пана?

– Который день голодные идем, – вмешался Колодка, – а тут в лесу дерево или траву не станешь грызть. Человек все ж таки, а не скотина…

Ядзя, знакомясь с Миколой, была не очень похожа на взрослую. В улыбке, с которой она назвала ему свое имя и ждала в ответ имя «пана жолнежа», больше всего было чисто детского любопытства. А теперь, услышав слова Колодки, она как бы встрепенулась и сразу вдруг стала старше.

– Добжэ, – сказала она. – Вы подождите тут, а я пойду и принесу вам хлеба.

– О, вот это дело! – чуть не закричал Колодка. – Эх, вот оно что значит свое! Иди, дочка, иди!..

Девочка задумалась.

– Вы спрячьтесь, – сказала она очень серьезно. – А я, как приду, скажу так… – Она совсем по-детски вытянула губки и тихо прокуковала: – Ку-ку, ку-ку!..

– Вот-вот, разумница моя! – совсем расплылся Колодка. – Ты нам «ку-ку», и мы тебе из кустов «ку-ку». Ты только хлеба нам неси побольше. И хлеба и к хлебу!..

Последние слова сказаны были уже вдогонку.

* * *

А о главном так и не вспомнили – не спросили: Польша уже или

все еще неметчина.

Я чуть не крикнул вслед девочке: «Постой!» – но тут же спохватился, уже с открытым ртом и поднятой рукой, что здесь кричать небезопасно. И в этот миг она в последний раз мелькнула среди зеленых кустов. А минутой позже мы услышали где-то недалеко смех…

Смеялись не там, куда побежала девочка, а в той стороне, откуда мы пришли. Спокойно рассуждая, можно было бы считать, что на всех языках люди смеются одинаково: засмеяться за деревьями мог и не враг. Но мы за два года привыкли к мысли, что порабощенной Гитлером Польше не до смеха. Засмеялся мужчина, на смех которого другой мужской голос так же весело и громко ответил… по-немецки!

Мы кинулись в чащу.

Микола бежал первый. Он даже успел тихо скомандовать: «Бегом!» Следом за мной трещал ветвями и грохотал Колодка.

Только метров через двести или триста я опомнился, что с этаким шумом нам не пройти. Я припустил вовсю, догнал Миколу и, поравнявшись с ним, сказал:

– Погоди!

Микола понял меня так же, как за минуту до того поняли его мы.

– За мной – Колодка, а ты, Микола, – за ним. И тихо.

Мы двинулись медленнее, но зато почти совсем неслышно. Наша лучшая союзница – ночь – не слишком спешила нам навстречу. В ельнике она осела тенью, в серой гуще которой мы чувствовали себя спокойнее. Но ельник стал редеть, потом его постепенно сменило березовое мелколесье. Посветлело. По вереску, то там, то сям сбивая шапки притаившихся грибов, мы, не сговариваясь, пошли быстрее, а за нами, и впереди нас, и со всех сторон неслышно шагала опасность…

И вот я наконец остановился.

Сквозь редкие кусты и березки подлеска мы увидели луг. Он расстилался далеко вперед и в стороны, а светло-серое небо над ним говорило, что ночь еще не пришла… Маленькие швейные машинки кузнечиков стрекотали в росистой отаве – бесчисленные неутомимые портняжки все еще шили, несмотря на сумерки. День дотлевал на западе бескровной полоской зари. Звезд еще не было. Осторожные красавицы серны еще не вышли на опушку. Не доносились из чащи хриплые призывы их гордых, ревнивых кавалеров, голоса которых недавно до ужаса напомнили нам брех овчарок.

Идти дальше или подождать?

На лугу стелется, словно поднимаясь из травы, туман. Над лугом одно бескрайнее тихое небо.

И мы пошли.

Шорох росной травы под ногами. Молчание и мысли, которые никто из нас не хочет высказать вслух. Все это не ново, все понятно и так.

Новое возникло где-то уже на середине луга. Это была река.

Только обнаружив ее под грядою тумана – мы уже научились издалека распознавать неприятный, вызывающий дрожь холод воды, – я остановился, товарищи подошли, и Микола сказал:

– Ну, известно…

Один за всех нас он с чувством отпустил общепонятное крепкое словцо.

Это было не отчаяние, а просто досада и злость. Не впервые нам преграждала путь вода. Не впервые лучший наш пловец, Микола, молча садился на берегу и первым начинал раздеваться.

Так было и теперь.

Микола снял через голову сумку и сел.

Подготовку к переправе мы всегда начинали сразу, не дожидаясь даже, пока обсохнет пот. И делалось это каждый раз одинаково. С узелками со всей нашей сбруей, привязанными на голове, мы подходили к берегу, и первому, кто ткнет скрюченными пальцами ноги в воду, принадлежало право определить температуру словом «ничего» либо, в противном случае, каким-нибудь более красноречивым выражением. Независимо от этого Микола обвязывал себя через плечо концом нашей бечевки, а я или Колодка надевали на вытянутые руки моток. Бечевку эту мы свили на первой дневке из шпагата, большой клубок которого Микола раздобыл на заводе. Бечевка была длинная, метров в сто, и надежная, в три шпагатины.

Подготовившись, Микола «измерил температуру», отрицательно охарактеризовал ее отнюдь не научным термином, вошел по колени в воду и сказал:

– Ну, водолазы, пускай!

Моток держал на руках Колодка. Сегодня у него на голове копной сидел двойной узел: одежда своя и Миколы. Такой у нас порядок – первый плывет в разведку налегке. С презрением ко всему, что может стать нам помехой, Микола крякнул и тихо нырнул.

– Дай ему бог здоровья, что бобр, – зашептал Колодка, уже выбивая зубами дрожь.

Вынырнул Микола еще тише. Поплыл, натягивая бечевку. Сидя на корточках над самой водой, я пропускаю бечевку между пальцами, а Колодка с медвежьей ловкостью ворочает протянутыми руками, с которых беззвучно соскальзывают веревочные витки.

Я не свожу глаз с Миколы. Все меньше и меньше кажется его голова, от которой все шире расходится по воде треугольник. Потом точка, которая ведет вперед этот треугольник, исчезает совсем, и наконец я ощущаю в руке три толчка. Разведчик на том берегу дает сигнал, трижды дергая за веревку.

Я – с узелком одежды на голове, мне нырять нельзя. Да не больно и охота. Плыву то под бечевкой, натянутой над самой водою, то рядом с нею. Вода, как всегда, безыменная, чужая, холодная... И, как всегда, страшно, что сведет мне ноги предательская судорога – зимний лагерный подарок. Ногами стрижешь под водой, руками осторожно раздвигаешь течение... Ближе к берегу, когда уже видишь товарища, становится веселей. Веревка, которую он держит, тебе уже не нужна, но смотреть на нее приятно, как на протянутую сильную руку.

Нащупав дно, я становлюсь на ноги и бреду, а Микола тем временем сигналит отправление Колодке. «Опять крапива!..» – мысленно ругаюсь я, как от огня, отшатнувшись от покрытого росой куста.

– Ну, кита заструнил, – шепчет Микола.

Теперь он, помогая Колодке, тянет бечевку, которой тот опоясан. Колодка плавает плохо, пыхтя.

– Гляди, сейчас плюхнет ногой хоть разок, – шепчет Микола, и невидимая добрая усмешка доходит до меня сквозь дробный перестук его зубов.

И правда, медведь наш сбился с такта, не смог танцевать под водой. Плюхнуло. Раз. И еще раз.

– Хороший дядька, – шепчу я, как бы для того, чтобы оправдать Колодку.

– Нам бы только его накормить, – с той же усмешкой в голосе говорит Микола.

– А сам не поел бы?

– Я? Я, брат, и сам с усам... Ну, все.

Колодка выходит из воды и, снимая с головы двойной узел, шепчет:

– Х-хол-лод-дно, тр-ряс-ц-ца е-го п-поб-бе-ри!..

Это чистая, голая и до чертиков студеная правда. Мы быстро одеваемся, и нам, как всегда в такие минуты, делается теплее от мысли, что вот и еще одна преграда позади.

* * *

А это всё-таки была еще Германия!

За лугом, когда начались поля, под ногами у нас сперва шур-

шала стерня, затем пошло большое поле брюквы. Уже стемнело настолько, что в небе над нами проступили первые тысячи звезд. Не хватало только луны, в сиянии которой на огромном пространстве холодно блестела бы покрытая росой ботва, как это часто бывало и раньше, в каких-нибудь двухстах, не больше, километрах позади.

– Ну вот... – сказал Микола, первым набрасываясь на харч. В голосе его была и радость голодного, и злость на то, что еще один водный рубеж пройден, а край нашей неволи все не кончился...

С первым голодом мы расправляемся тут же, на месте. Ножик Миколы переходит из рук в руки, и облысевшие при его помощи головки брюквы отчаянно хрустят под нашими зубами. По мере того как наши желудки наполняются холодноватым и сладким соком, я все явственнее начинаю ощущать, что мы одни под высокими звездами, что мы лежим на земле, которая нас даже греет, что мы как бы припали к ее груди, чтобы набраться силы.

– Погрызем, а там и поскачем, как зайцы, – говорит Микола.

Когда мы встаем, чтобы идти дальше, Колодка выбирает еще одну брюкву, и мы, по его примеру, делаем то же. Потом долго идем, как всегда, один за другим и на таком расстоянии, что шепотом разговаривать нельзя.

Брюква, жнивье, картофель, пашня, снова жнивье кажутся не такими глухими, как лес и луг. Копенки овса, густые ряды которых часто попадаются на пути, представляются мне маленькими домиками, где совсем недавно погасли огоньки. Мы – три Гулливера – идем по улице этого сказочного поселка, и обманчивое ощущение жилья так настойчиво овладевает мной, что я наконец сдаюсь.

– Привал, друзья мои, – говорю я, и это воспринимается как общее решение.

Мы берем сразу по нескольку сказочных домиков за их колосистые крыши и сваливаем в кучу. Затем с наслаждением ложимся на теплые, еще не успевшие остыть от дневного солнца овсяные снопы.

Брюкву мы на этот раз едим более культурно. Очистив одну, Микола разрезает ее на ломтики, как голландский сыр, и наделяет всех по очереди. Мы лениво хрустим, даже смакуем. Но удовольствие это ненадолго: выше полного не наполнишь, а старый голод за один раз не унять. Я поворачиваюсь на спину, слушаю, смотрю.

...В детстве, когда ты возвращался с ледяной горки мокрый и мать – по-своему совершенно правильно, а по-твоему ничуть не заслуженно – встречала тебя обжигающими махрами фартука, ты чаще всего забирался на печь. Это была как бы крепость, где ты уже мог считать себя почти в полной безопасности. Самое теплое место в

хате, особенно для тех, у кого в такие времена был надежный союзник – бабушка. У меня ее не было, я обычно переживал свою обиду один. Лежал, глядел на потолок, сначала хныкал, а потом начинал рассматривать, словно какой-то интересный рисунок, сучки и слоистые разводы на досках. И обида проходила, особенно когда мать – теперь уже и по-твоему правильно – вспоминала, что ты чуть ли не с утра ничего не ел…

Детство наше миновало давно, навсегда. Но остались не только воспоминания о нем. Я не перестал любить красоту, как любил когда-то, впервые познавая ее и в мелочах – в каком-нибудь пожелтевшем листе, падавшем с ветки мне на голову, и в необъятном загадочном величии неба, открывшемся мне у костра первых ночевок в поле.

Я лежу на овсяных снопах за многие сотни километров от хаты, из которой ушел в жизнь. Я давно не дитя, и обида моя не детская. Но на звездный потолок надо мной я гляжу с какой-то странно детской улыбкой. На вторую слева звезду Большой Медведицы, мне чудится, присел комар. Бедная звездочка мигает, мигает и никак не может его согнать… А может, это не комар? Может, она подмигивает мне и товарищам, как бы желая сказать, что мы непременно выплывем из страшного омута на родной простор, туда, где нас любят, где мы будем нужны?..

Не мигай, звездочка! Прошло не только детство – юность тоже позади. Еще три месяца назад мы мечтали о родине, как мечтают юноши, – там надеялись найти покой и материнскую ласку, думали там отдохнуть перед новой, настоящей и радостной работой. Но мечтам нашим пришел конец. Враг, которого мы узнали в сентябре тридцать девятого года, захотел теперь отобрать у нас волю и счастье навсегда, отняв родину, которую мы любим давно, хотя ни разу еще не бывали в ее пределах. Что ж это сталося с нашими? Так отступать!.. Как разобраться нам в этом?.. Не мигай, звездочка, – мы идем не покоя искать. Мы…

Но что это?.. Песня?

Я поднялся и сел.

Немецкая песня встает за горой, куда протянулись шеренги овсяных домиков. Песню поют девушки, а помогает гармоника.

– Весело стервам, – сквозь зубы говорит Микола.

Он тоже поднялся, сидит на снопах. И Колодка перестал жевать. Мы больше не разговариваем, думаем каждый о своем.

Эту песню мы слышали не раз. В ней часто повторяется слово «Эрика» – девичье имя. Почти ничего больше я в песне не понимаю. Но с меня довольно и этого. Я вспоминаю другую Эрику – нашу…

…Стеклодувный завод. Огромная труба, черное дыхание которой казалось мне дыханием нашей истомленной груди. Гигантские черные горы угля. С утра до вечера мы слышим его скрежет под нашими лопатами, слышим, как он грохочет о железо пустых вагонеток.

А неподалеку от нас сидит девочка. Сложив на коленях руки и опершись о них детским острым подбородком, она смотрит на нас, не сводя глаз. Так смотрела она и вчера и позавчера… Несколько раз в день из-за черной горы угля, где стоят домики рабочего поселка, доносится женский голос: «Эри-ка-а!» И, когда зов этот повторяется еще и еще, девочка медленно, с видимой неохотой встает и уходит. Потом опять приходит и снова смотрит. Долго, неутомимо, молча…

Труба, уголь, вагонетки – все это осталось далеко на западе. Кругом – стерня, овсяные домики копенок. Над нами – тихий, усыпанный звездами океан. И я невольно, думая о той девочке, подтягиваю усталые ноги и, сложив на согнутых коленях руки, опускаю на них голову. А девочка стоит перед глазами как живая. Вот здесь. Столько боли и столько надежды в ее не по летам серьезных глазах! И я читаю в них, как и тогда, все тот же безмолвный вопрос: «Это правда, что ты – мой лучший друг?..»

«Ты мой лучший друг!..» – так сказал нам немец Карл, старый рабочий. Вместе с ним мы, Микола и я, разряжали аккумуляторы без рукавиц и вместе с ним обожгли кислотой руки. Возмущенный Карл кричал на весь цех, показывая руки инженеру. Они были мозолистые, худые, как руки наших отцов. А «герр инженир», верный слуга своих хозяев, улыбался. «Та-ак, – сказал он, – теперь тебе, пожалуй, можно и рукавицы выдать…» И хуже всего, что вместе с инженером смеялись тогда три других немца – подростки, которым на этот раз посчастливилось не обжечь руки. Не смеялись только Микола и я. Микола потом попытался, больше жестами, чем словами, растолковать юношам, что все это совсем не смешно. А Карл – бритый молчаливый старик в синих штанах, латаных-перелатаных, с краюшкой хлеба в кармане такой же залатанной куртки, – Карл подошел к Миколе, протянул ему руку и сказал: «Ты мой лучший друг!»

У Карла же мы и спросили потом, почему так странно смотрит на нас который уже день маленькая Эрика. Оглянувшись вокруг, старик, понизив голос, заговорил: «Вам я скажу. Ее отец, рабочий Вилли Кляйн, был коммунистом. На этом заводе коммунистов была целая группа. Потом их посадили в концлагерь, перед войной. В этой трубе был замурован архив. Девочка знает, что вы из России, и она… Но тс-с! Давайте работать», – прервал он рассказ и снова взялся за лопату. Мы оглянулись. Никого не было, даже и тени фашиста, – чего

он испугался? Карл понял наше недоумение, выпрямился над угольной кучей и, опершись на тяжелую лопату, с доброй улыбкой сказал: «Враг слышит». Такие плакаты висели повсюду, и так по-своему перетолковал их человек, который увидел в нас друзей…

– Жалко девчушку, – вдруг отозвался Микола задумчиво, тихо.

– Да, – сразу же ответил я, как будто не про себя вспоминал об Эрике, а говорил о ней вслух. А потом, спохватившись, спросил: – Ты о ком?

– О ком же еще?.. Вернулась туда с хлебом, ходила по лесу, куковала. А может, и плакала… Эх!..

Минуту мы молчали.

И рядом с черными глазами Эрики встают передо мной заплаканные глаза Ядзи. Измученное польское дитя с ломтем хлеба, украденным у хозяина, ходит, может быть, по лесу, вглядываясь в темноту, и тихо кукует. Теперь у нас уже нет сомнений в том, что это все еще Германия. И девочку привезли сюда, как привезли и других, в неволю. И она плачет где-то, потому что родные люди, которых она так давно не видела, по которым изболелась душа, обманули ее. Так много хотелось им сказать, столько спросить, а они вот ушли… А может, ей и не удалось стащить хлеба: заметили – скупая, крикливая фрау или сам угрюмый, с огромной, как ушат, трубкой «гроссбауэр» – прусский кулак. И где она теперь, что делает, какую тяжесть несет на сердце?..

– Я сначала подумал, – сказал я Миколе, – что ты не о ней…

– Так-то оно так, – перебил меня Колодка, – а больше всего, хлопцы, жалко хлеба. А то нажрались мы этой брюквы, как коровы, а все равно что и не ел человек. Как говорится – обедал, а живот не ведал. Хлеб – он все ж таки хлеб. Кабы принесла…

– Ско-ти-на, – медленно, тихо, отчетливо прошипел Микола.

– Ты это про кого? – удивился Колодка.

– Про тебя.

– Так, выходит, я для тебя скотина?

– Скотина.

– Ну, так ты за это, если хочешь знать… ты…

Колодка поднялся.

Наступила тревожная пауза.

Микола молчит.

И мне кажется, что кто-то невидимый снял с гранаты кольцо, большой палец руки медленно отпускает скобу, после чего пройдет несколько долгих секунд – и наступит развязка…

Колодка это понял.

– Хлопчики… – тихо сказал он. – Хлопчики, да что вы?.. Да я ж до самого Бреста терпеть буду! Что вы?.. Я просто пошутил. Я все понимаю. У меня ведь у самого дочка. Алеся…

В полутьме, хотя мы находимся рядом, я плохо вижу лицо Миколы. Но ведь оно, это лицо, мне так хорошо знакомо. Из-под всегда нахмуренных черных бровей глядят сейчас на Колодку глаза Миколы, уже, наверное, с искринками доброго смеха.

– Ну, вот видишь, – говорит Микола.

И я понимаю его.

– Да что ты, Степа, – говорю я, – неужто ты подумал: «Бросят»?! Ты только поменьше ной. И так ноги не служат, а еще и ты повис на них…

– А ведь у тебя одни сапоги пуда на три, – в тон мне говорит Микола.

Мы смеемся. Не только Микола и я.

– А, чтоб вам, хлопцы, доброго здоровья, – смеется Колодка, – ну вас!..

И мы двинулись.

На восток – на свою Заряницу.

Мать

Шла жатва, и она с каждым днем уставала все больше.

Жаркую духоту трудно было отогнать от немощной груди даже самой большой, самой колосистой горстью ржи. А работать надо, хотя туман застилает глаза… И она жала, никому ничего не говоря.

Вечером, возвращаясь домой со своим младшим – в то страшное лето единственным в хате – сыном-подростком, старуха едва передвигала ноги, разбитые годами беспросветного труда… Поблекшие глаза ее, казалось, глядели на мир из-под низко надвинутого платка совсем безразлично…

Однако они многое замечали.

Вот, неожиданно остановившись, она оглянулась на сына, который тоже с серпом на плече молча и почтительно шел сзади, сдерживая шаг, по-пастушьи «поклевывая» сладкий ржаной колосок.

– Гляди, Василь, как упирается… Эх! Держись, горемыка, стой!..

Сын перестал на миг «клевать», посмотрел в ту сторону, куда она показывала. За большой узорной дерюгой чересполосицы, где-то далеко-далеко за холмом потухала заря, а совсем рядом с межой, по которой они шли, стояла понурая копенка жита. Утром по нивам с

горы в долину низом прошелся ветер и надвинул копнам шапки на самые глаза. Мало того, иную, что послабей поставлена, так и всю наклонил или даже перевернул совсем. Та, на которую показала мать, склонилась всеми снопами вдогонку утреннему ветру, улетевшему уже на другой конец света, но не хотела упасть. И старая жнея улыбнулась, глядя на нее с тем же неиссякаемым жизнелюбием, как в годы, когда она была еще батрачкой в панском имении и не знала устали, надрываясь для чужого счастья.

Когда межа уперлась в большак, мать с сыном повернули влево и пошли тропкой, протоптанной в траве обочины, все так же – она впереди, он сзади. Справа высоко поднималась насыпь дороги, слева время от времени гудели телеграфные столбы. Прогудит, потом идешь – и вот опять стоит и гудит, словно живой, так печально, даже зловеще бормочет.

На одном столбе, уже недалеко от поворота на их хутор, старуха заметила белое пятно бумажки на уровне глаз. Прошла мимо: некогда на все обращать внимание… Потом остановилась. Сказать сыну, чтоб поглядел, не успела: он уже сам читал, бросив «клевать» колосок. Прочитав, содрал бумажку, изорвал на клочки и швырнул их, словно пригоршню мякины, кому-то невидимому в глаза.

– Что там такое?

– Чтоб не давали есть бойцам. Чтобы доносили на них полицаям… Обещают водки и табаку.

– Пусть бы себе висело, сынок. Неужто их кто-нибудь послушает?

– Будут расстреливать тех, кто не послушает. Всю семью… И хату спалят…

– На все божья воля…

Они пошли дальше – опять друг за другом, молча.

Дома, в сенях старой хаты, еще при панской власти выдворенной из деревни на хутор, мать заткнула свой серп в щель над косяком. Сын сделал то же самое. Она обеими руками поправила платок, сверху вниз крепко провела по лицу, как бы снимая с глаз усталость, и уже хотела сказать, что вот подоит только корову и будут вечерять…

– Я пойду в деревню, – опередил ее Василь.

– Опять! – скорее испуганно, чем сердито, крикнула она. А потом решила взять лаской: – Не ходил бы ты лучше… Завтра ведь рано вставать…

– Ну что ж, и встану.

– Так хоть поужинал бы.

– Я скоро вернусь.

– Знаю я это «скоро»... Ой, доходишься ты! Доведет тебя этот Озареночек! Попомни мое слово!..

– Ничего, мать. Уже испугалась?..

– Вот тогда посмеешься! Нашел чем шутить!.. По-твоему, я слепая, не вижу, или глупая, ничего не понимаю?..

Он подумал, что больше говорить не стоит... Нет, он просто бросил:

– Еще чего, будет учить!..

И ушел.

Опять дай боже терпения на целехонькую ночь!.. Вскоре старая хата среди серого, уже по-ночному однотонного поля устало потушила огоньки окон.

Мать не спит.

Возле этого хутора фронт, трагическое начало войны, прошел, как внезапно налетевший вихрь – и верхом, и низом. Ревели самолеты, рвались бомбы, грохотали танки, бежали по хлебам солдаты... Пронзил этот вихрь и душу: он неожиданно вымел из хаты обоих старших сыновей. Степан только в позапрошлом году, когда пришли товарищи, вернулся из панского острога, дождавшись наконец того, за что принимал муку. Владик, самый старший, хозяин, мобилизованный панами летом тридцать девятого года, только к заморозкам принес осьмину вшей из немецкого лагеря. И вот ушли ее хлопцы опять, теперь уже на восток. И не возвращаются, как иные... Не успели и ожениться – так быстро пролетело оно, время их долгожданной воли. Владик только лесу навозил, чтобы новую хату рубить. Степан сидел в сельсовете председателем. А Василь – этот учился две зимы в Новогрудке...

Да, тех нету. Бог святой ведает, что будет дальше... А этот, последний, не хочет сидеть дома, ищет беды. Дождалась – даже не скажет, куда и зачем.

...Они пришли еще затемно. Старуха не спала от боли в ногах, и осторожный стук в окно не разбудил ее, а просто напугал... Пока она подняла с подушки голову, пока в этой седой простоволосой голове сто раз перевернулась мысль: «Кто это?» и даже радость: «А может быть...» – пока она успела встать, послышался до шепота приглушенный голос:

– Хозяин!.. Хозяин, открой!

Как ведется испокон веку, она сначала прижалась лбом к стеклу, поглядела... Потом вышла в сени, дрожащими руками вытащила задвижку и отворила дверь. Теперь стало совершенно ясно то, о чем

она сразу догадалась: это они, бойцы…

Один из них – а сколько было всех, не успела сразу заметить в матово-прозрачных предрассветных сумерках, – один подошел к ней и все еще шепотом не то сказал, не то спросил по-русски:

– Мать… Ты нам хлебушка дай, родная… Из лагеря бежали… Ты не бойся, мы сразу же уйдем…

Серый и гладкий телеграфный столб со зловещим гудением проплыл перед ее глазами… И на нем та самая бумажка, что разорвал ее хлопец… Мелькнула мысль, тревогой сжав сердце: а он еще не вернулся!.. Белое пятно бумажки метнулось вместе со столбом вдаль и исчезло. Осталось только страшное небритое лицо человека с большими глазами… Остались только они – теперь уже хорошо видно – четверо.

– Заходите, хлопчики! Я вам хоть молочка… Хоть жажду прогнать… А лампу зажигать не будем…

Последние слова она произнесла, уже перешагнув порог.

И на большаке, и в местечке, на всем так хорошо знакомом и каком же коротком теперь пути от родной хаты до свежей ямы в лопухах добрые люди видели ее мученический поход. И всем было понятно, куда и за что.

Четверо босых, в солдатских лохмотьях мужчин, с руками, скрученными назад колючей проволокой, по двое шли следом за нею. Ей фашисты сделали снисхождение: не связали рук. В конце концов, они ее не боялись, как этих даже безоружных, обессиленных беглецов. Один из солдат, еще совсем мальчишка, недавно остриженный под машинку, изо всех сил старался не упасть и, глядя на товарищей, как и они, поднимал голову выше.

Свои худые, так мало в жизни целованные руки она сложила мозолями к мозолям. Шептала собственные, совсем новые слова молитвы. И в утреннем свете родного солнца ясным было ее лицо, хотя по морщинам невольно катились слезы. Она и здесь не думала о себе. Где он, ее Василек, почему не вернулся?.. «Как хорошо, боже милостивый, что он не пришел, не прибежал даже на пожар родной хаты!.. Видно, далеко уже где-то сынок, видно, откопали-таки они с Озаренком свои пулеметы… Где они, Владик и Степан?.. Сохрани их, боже, всех троих от пуль, дай им всем увидеть материнскую могилу!..» И тут ее сердце возвращалось к этим, к чужим сыновьям, с которыми ее так прочно сроднила доля… Она слышала их шаги – шарканье босых ног по гравию, слышала тяжелое дыхание… Она отдала им все, что могла… А тут даже не оглянешься… И она делала одно, чему еще

мама учила: молилась – и за своих сынов, и за чужих, и за себя…

Жарко дышали клыкастые глупые пасти овчарок. Черной сталью поблескивали в голых до локтя, загорелых руках автоматы. Время от времени на обочине гудели телеграфные столбы.

Мать не ведала, кто она. Она не догадывалась, что не только с ужасом глядят на ее путь встречные, что образ ее останется в сердце многих мужчин горьким, неумолимым укором, что глаза и руки ее вспоминать будут даже сильные люди, прогоняя из души последний страх перед ночной партизанской атакой…

Один день

1

Пока Лида Свирид не встретила в пуще трех партизан, молодице казалось, что все уже погибло.

Всё – начиная с хаты на хуторе, своего гнезда. Бедное было у нее гнездо, осиротелое, после того как убили Андрея, однако все-таки гнездо, так как вместе с Лидой жил в нем их птенчик – девятимесячная Верочка. Недалеко от хутора – деревня Ляды, где когда-то Лида тоже была птенчиком, а потом вольной пташкой. Там жили мама, которая поначалу приходила учить Лиду купать Верочку, и отец, после смерти Андрея помогавший ей справляться со вдовьим хозяйством. Там был Микола, старший, семейный брат, были подруги и друзья молодости, родня и соседи. За Лядами – Ямное, Грядки, Заречье, Гречаники – ближние деревни, в одну из которых вышла замуж Марыля, сестра, в другую – Зина, лучшая подруга, в третьей доживала свой век добрая тетка Настуля.

Одним словом, был свой небольшой круг, родная частица огромного мира, с центром, сердцем его – Верочкой.

Пересекая этот круг, с юга на север катился Неман. Тоже родной, близкий, где столько раз она плавала летом, скользила по льду зимой.

В Лядах на Немане стоял партизанский дозор, а в срубе, заваленном прямо по потолочному настилу картофельной ботвой, застава. В срубе, а не в хате, потому что уже с осени в Лядах хат не было: их сожгли фашистские каратели. Теперь были только землянки, навесы, сушилки, крытые соломой погреба, обгорелые заборы и какие-то особенно оголенные и одинокие липы, груши-дички, березы и клены. Среди землянок, деревьев, плетней, черных струпьев пожарищ всегда

перед глазами стоял этот необычный сруб. И, когда она взглядывала на него, на душе становилось легче и спокойней – за ребенка, за себя и за добрых людей. По ночам из пущи за Неман выезжали разведчики, выходили взводы, подчас целый отряд или бригада. И когда она слышала, как перекидывались шутками веселые хлопцы, как лошади их фыркали и били копытами по доскам парома или плескали водой у берега, ей становилось хорошо от мысли, что и сегодня Верочка спокойно уснет и сама она может отдохнуть, а утром все снова встанут и возьмутся за работу, почти так же спокойно, как до войны.

Так было до тех пор, пока не пошел меж людей слух про великую, неслыханную беду, называется которая совсем новым и очень страшным словом – «блокада».

И вот она подкралась, эта беда, неприметно.

Случилось это перед самой косовицей. На рассвете вспыхнул бой на Немане. В Дуброве, где находился мост против лагеря бригады «Сокол», бой затянулся надолго. А в Лядах заставу – пятнадцать человек – разгромили внезапным налетом.

Лида только успела вскочить с постели, взглянуть в окно и выбежать во двор, а народ уже бросился в сторону пущи: старухи, девчата, дети…

Схватив единственное, чего она нигде и никогда не могла позабыть – свою сонную, теплую Верочку, – побежала и Лида.

Сзади, на Немане и в деревне, слышны были крики, стрельба, занимался пожар. Над головами у беглецов, обгоняя их, жужжали пули, а мины тяжело шлепались то тут, то там, злобно разбрызгивая вокруг себя визгливые осколки. Дорогой и полем, по густым хлебам, бежали лядовские жители, а Лида с ребенком никак не могла их догнать. И не потому, что тяжело ей было или неловко. Как только она пыталась бежать скорее, малышка просыпалась и захлебывалась плачем. Одна с Верочкой она добралась до первых кустов на опушке. И там уже никого не было. Кустами, калеча босые ноги (тут только вспомнила о сапогах под кроватью), добежала до березняка. Потом углубилась в росистые заросли и, ныряя под ветки, потеряла косынку, порвала платье и дважды споткнулась. И только когда споткнулась о корягу в третий раз и чуть-чуть не упала, Лида пошла потише, прижимая дочурку к задыхающейся груди.

– Тихо, тихо, голубка моя, – говорила она. – Ну, не плачь…

Но и сама готова была заплакать.

Она осталась одна. Впереди лес, а на руках ребенок, с которым не побежишь, никого не догонишь. Да и как догонять, куда бежать? А тут, гляди, и тебя догонят… Вон как стреляют – ближе и ближе…

Этот страх и породил нелепую мысль, что все позади погибло. А теперь… а теперь и она…

– Тише, тише, милая моя… Ну, не плачь…

Губы шептали, уговаривали, а из глаз катились слезы.

Солнце только-только выбралось из-за деревьев на чистое небо, когда Лида, уходя все дальше от грохота пушек и стрельбы, наткнулась в чаще леса на трех вооруженных людей, один из которых держал в поводу коня. Сперва, не узнав их, она испугалась, а потом радостно вскрикнула:

– Хлопцы!..

Это были Женька Сакович, Федорин Иван и Середа из Гречаников. С ними больше года партизанил ее Андрей.

2

Три партизана, из которых один раненый и только один с конем, – вот и все, что осталось от разведки отряда.

…Произошло это неожиданно и быстро.

На рассвете они возвращались с задания. Кони, взмокшие от дальней дороги и быстрой езды, как только им разрешили перейти на шаг, стали весело пофыркивать, месить копытами глубокий песок. Конники опять могли перекинуться словечком, закурить.

Отмечая короткий ночной путь бессонного летнего солнца, на севере тянулась светлая полоса. Солнце, которое, кажется, так недавно село на северо-западе, переползло, прячась за горизонтом, на северо-восток и остановилось, чтобы начать помаленьку выплывать наверх. Оно было глубоко за пущей – над гребнем леса все еще несмело занималась утренняя заря. А по мере того как она разгоралась, остатки вечерней зари потухали. Вот-вот проснется в хлебах первый жаворонок и, отряхнув свежие капли с серых теплых перышек, поднимается над полем, возвещая восторженным щебетом начало нового дня.

Шура Сучок ехал сегодня далеко впереди. Каштанка мерно переступала ногами, надоедливо скрипело седло. Автомат, как всегда, висел на груди. Даже Шура, очень осторожный, внимательный парень, спокойно смотрел вперед. Вот только пересечь большак, проехать мимо этих деревень, а там немного лугом – и лес. Да и деревень, собственно говоря, нет: одно только Загородье, раскинувшееся на пригорках по обоим берегам узенькой речки Ужанки. Давая направление всей группе, в середине деревни Шура повернул направо, пересек широкий песчаный большак и затрусил с

пригорка в лощину, к мостику.

Недавно с Шурой произошел незначительный случай, который почему-то запомнился всем хлопцам. В ту ночь разведка была на задании почти под самым носом у фашистского гарнизона. Шура стоял на посту за крайним домом деревеньки. Когда же потом за ним поехали, его не нашли на условном месте. Встревоженные хлопцы бросились искать. Шура Сучок стоял за деревом, не более чем в двухстах шагах от первых домов, где за проволокой находился гарнизон. «Ну и зачем это? – кричал потом командир. – Кому б от этого была польза, если бы тебя раздавили, как жука. Эх, ты!..» – «Я бы, в случае чего, – оправдывался Шура, – дал бы вам знак, чтобы вы успели отойти». – «А сам?» – «Сам? Черт его знает, – засмеялся смущенный парень; он был, оказывается, совсем не готов к такому вопросу. – Сам, – сказал он первое, что пришло на язык, – тоже что-нибудь сделал бы…»

Этот случай еще раз показал разведчикам, что больше всего заботило их скромного, молчаливого товарища, которому только теперь, на второй год пребывания в отряде, стукнуло восемнадцать лет.

Когда Каштанка затопала по доскам мостика, Шура заметил, как в другом конце Загородья от гумна к хлеву метнулся, перебежал, пригнувшись, кто-то чужой. Сзади были товарищи, и Шура подал им знак, взмахнув рукой, а сам рванулся туда, к гумну.

Пока парень, прошитый пулеметной очередью, сползал в какую-то темную бездну, в лощине между редкими хатами деревни со всех сторон затрещали выстрелы. Разведка оказалась в западне.

Женька Сакович думал сначала, что он опомнился первым и благодаря ему они, четверо из десяти, собрались на опушке леса. То же мог думать и каждый из них: трудно было понять, как они могли вырваться из кольца губительного огня.

У речки, на первой прогалине в лесу, они снова напоролись на пулеметы. На этот раз стреляли из танков, замаскированных в кустах. Тут остался еще один товарищ – веселый гитарист Левко, тут под Женькой убили коня. Хлопцы догадались, что дело не шутка, что это не обычные засады. Когда же вскоре, точно по сигналу этих двух засад, на севере, должно быть, возле бригадной переправы на Немане, разгорелась пулеметная трескотня, к которой присоединились взрывы мин и грохот орудий, – все наконец стало ясно.

3

– Так что ж это делается, Лида?

Вопрос прозвучал нелепо. Злобный – то нарастающий, то чуть потише – треск пулеметных очередей все приближался и приближался. Разрывы мин и снарядов ложились где-то совсем близко. Как это партизан мог обратиться с таким вопросом к женщине, и так еле живой от страха? Кто его знает! Каждый из них, кажется, готов был задать этот вопрос. Они стояли вокруг Лиды. Ведь она одна была с той стороны, с Немана, откуда все началось. Однако и она не могла ничего им сказать о том, где бригада, где их отряд, как добраться до своих... А тут еще она, совсем не обращая внимания на их присутствие, вынула из кофточки полную молодую грудь. Ребенок жадно уткнулся в нее, прильнул и замолк.

Тогда Женька, как будто что-то вспомнив, достал из сумки индивидуальный пакет и, протянув его Ивану, попросил:

– Возьми, брат, подвяжи ты мне руку на шею: что-то тяжела стала.

– Да ты ранен, Женя? – испуганно спросила Лида.

– Даже и перевязан уже, – усмехнулся Женька, застенчиво поглядывая на нее.

Малышка, утолив первый голод, бросила сосать, почмокала губами, поглядела на траву и протянула вниз забавно маленькую ручку с розовыми растопыренными пальцами.

– Ня, – сказала она.

Мать, которая одна понимала язык девочки, привычно спрятала грудь и, нагнувшись к высокой лесной траве, не глядя, захватила пучок. Выдернула целую пригоршню, но маленькая ручка с розовыми пальцами нашла в этой пригоршне то, что ей надо. Это был белый, пушистый, как детская шапочка из кроличьего пуха, одуванчик. Пальчики малышки сжались в кулачок, и от цветка осталось только немножко пуха. Да и тот был совсем невкусный. Заслюнявленные розовые губки стали его недовольно и по-детски неловко сплевывать. В другое время только бы и смеяться над этим забавным неудовольствием!.. Даже и сейчас что-то теплое зашевелилось в душе, но тут...

Тут с пронзительным ревом над вершинами пронеслась огромная темно-серебристая птица. Ребята быстро присели. Лида с криком упала, заслоняя собой Верочку. Женька успел заметить, как из-под крыльев железной птицы, казалось, прямо над ними, отделилось два продолговатых предмета.

– Бомбы!..

Они раздирали воздух и долго, бесконечно долго сипели, свистели, выли, спеша врезаться в землю. Это только показалось, что они оторвались из-под крыльев над самой головой: два страшных взрыва, один за другим, всколыхнули воздух довольно далеко от них. Что там люди и конь – даже земля дрогнула! А потом пошли осколки. Одни тонко, как пчелы, звенели по верхам, сбивая веточки и листья, другие жужжали, как шмели, и злобно цокали, въедаясь в сучья и стволы. А один – большой и громкий – добрался сквозь гущу совсем близко, к этой вот стройной ольхе. Подсеченная, она недовольно крякнула, постояла какой-то, почти неуловимый миг, а потом медленно поехала вниз. Зацепившись верхушкой за вершину другой, молоденькой ольхи, как-то странно вывернулась и, сбивая ветки подруги, хлопнулась на траву. Только тогда, вырывая из рук повод, шарахнулся вконец испуганный конь.

К Женьке страх пришел позднее, когда, покрывая жужжание последних осколков, заплакала, задыхаясь от ужаса, малышка.

– Пойдем, Лида, с нами, – сказал он. – Не плачь.

Но куда же идти?

Куда-то ж ведет эта узкая лесная дорожка…

Вот они и пошли туда.

Через несколько минут дорожка вдруг подвела. Огибая сырую лощину, она круто повернула влево, как раз туда, откуда всего слышнее был огонь. На юге тоже гремело. Свободным оставался покуда только восток. А на востоке, равнодушное к этой горсточке людей, распростерлось поросшее кустарником болото.

– С конем здесь не пройдешь, – сказал Середа.

Он расседлал коня, седло на всякий случай закинул в кусты, затем, как дома, на гречаницком выгоне, снял и уздечку. Со щелком, как хозяин, закончивший сев, хлестнул коня уздечкой по хвосту и почти весело крикнул:

– Гоп, Сивый!.. Все, войне конец!..

Нелепая мысль, что там, за ними, все погибло, была впервые высказана вслух.

Видно, для того чтобы подкрепить ее, Середа протянул товарищам руку с окровавленным пальцем.

– Перевяжите кто-нибудь, – сказал он.

Женька удивленно посмотрел на него, помолчал, а потом здоровой рукой вынул из кармана платок:

– Возьми. Он еще чистый.

4

Они пробирались на восток по болоту, заросшему кустами. Прыгали по кочкарнику, оступались на хлипких, подплывших кочках, проваливались, падали, увязали, выбирались снова и снова упорно двигались вперед.

Первым шел маленький коренастый Середа. За ним спокойно, широко шагал всегда молчаливый Федорин Иван, худой женатый мужчина. Он нес два автомата – Женькин и свой. За Иваном спешила Лида. За Лидой – самый младший, высокий, еще по-юношески сутулившийся Женька. Простреленная рука висела на перевязи. Кое-как, наспех перевязанная рана все еще – чувствовал он – кровоточила, а кисть свисала из бинта, как перебитое крыло. Брови под линялой армейской пилоткой были насуплены, черные глаза смотрели мрачно – видно, не только от боли.

Стрельба и разрывы мин и снарядов стали понемногу утихать, отдаляться на запад. Слышнее были разрывы бомб. Несколько раз над болотом, загоняя партизан и Лиду в кусты, низко гудел бомбовоз или тарахтел похожий на стрекозу самолет-разведчик.

Тяжелей всех было Лиде. Прыгать с кочки на кочку с ребенком, сохранять равновесие с занятыми руками, падать так, чтобы не ушибить дочурку, и вставать вместе с ней – разве женщине это было под силу?

Уже два раза Федорин Иван останавливался и говорил:

– Дай, может, я понесу.

И два раза она отвечала:

– Ничего. Ты иди.

Между тем солнце перевалило за полдень. Мать сама не почувствовала бы, что с утра ее томит жажда, что она голодна, – сама не вспомнила бы, так напомнили об этом груди. Верочка сосет и плачет: пропало молоко. Кроме того, малышка никак не могла понять, зачем ей терпеть все эти неприятности. Ее протест выражался одним ребячьим способом – плачем, который никак было не остановить. Она то стихала порой, утомленная или успокоенная более легкой дорогой, то опять заходилась криком. Мать прижимала ее к себе, целовала, уговаривала и попрекала, как большую, плакала даже со злости, а потом, снова представив себе, что может случиться с этой светлой маленькой головкой, целовала дочку еще горячей и просила у нее прощения…

Изо всех сил стараясь не отстать от мужчин, Лида была вся внимание, боясь услышать страшные слова о том, до чего может

довести их этот плач… Она старалась поймать первый взгляд укора и злобы. Хотелось забраться в каждую из этих трех душ, чтобы наверное и как можно скорее узнать, что они, хлопцы, думают…

Правда, они покуда молчали.

Говорил один Середа.

Он вдруг стал вроде бы командиром. Он взялся провести их туда, где, по его словам, есть совершенно надежное убежище. Путь туда известен только ему одному. В их деревне Гречаники – все лесовики, только и жили с заработков в лесу.

– Туда, браток, – говорит он, – даже старая Ганна не доберется. За этим самым бабским живокостом[4]. Меня отец-покойник научил. При Польше не так, а вот в тридцать девятом, как наши пришли, вот тогда, браток, начал я зашибать копейку. Мы ее тогда по-культурному начали называть: авиабереза. А то раньше – просто по-деревенски: чечетка, и все. Про нас с Соболевым Иваном даже газетка писала: стахановцы.

Он рассказывает о той березе-чечетке, из которой делают что-то такое для самолетов. Она растет там, в самой глуши, куда другие могут пробраться только зимой, когда замерзнет болото. Где-то там, на одном из тех болотных островов, где фашистам не найти Верочки. Только бы он, Середа, не заблудился. Только бы дитятко молчало…

«Ой, мамочка, опять!.. Опять споткнулась, упала, уперлась одной рукой, чтобы встать. А рука сквозь траву ушла в грязь по самый локоть… Спасибо тебе, Иван, снова ты помог. А малышка опять заплакала. Ах, да тише ты, тише, горе мое!..»

– Кабы я не знал дороги, не повел бы, – бубнит впереди все тот же голос. – Доведу. Там мы как у бога за пазухой просидим. Вот только музыки у нас слишком много. Услышат немцы – и конец. Беда.

– Ну, да тише ты, тише, дочушка…

Женька молча шел за Лидой, перемогая боль, молча слушал плач малышки, бесконечное гудение Середы и думал:

«Почему он так крикнул Сивому: «Все, войне конец!»? А палец, который он даже с каким-то удовольствием нам показал?.. Почему он, этот вояка, насильно вытянутый недавно из хаты, этот вахлак, теперь вдруг оказался в начальниках? Он проведет и спрячет… Только вот Лида ему мешает. И даже не Лида, а Верочка… Почему он забыл и об убитых друзьях, и о том, что сегодня творится в деревнях, – сколько наших отцов, ребятишек и девушек расстреляно или сожжено с утра?

---

[4] Живокост – лесная целебная трава.

Может, Шурка совсем не убит, а только ранен? Может, ему сейчас надевают на шею веревку, а он, как всегда спокойный, молчаливый, собирает последние силы, чтобы плюнуть в глаза палачам? А где товарищи, вся бригада?..»

...Под вечер путь им преградила речка. Она была неширокая. Середа нашел хворостину, стал мерить глубину. Нельзя было даже понять, где начинается дно: хворостина уходит и уходит... Нашли неподалеку ствол сухой осины, лежавший еще с зимы. Перекинули – как раз хватило. Проверить, выдержит ли, пошел Федорин Иван. Он разулся на всякий случай и оставил оружие. Перешел, выдержала. Тогда пошел Середа с автоматами. Женька остался последним, потому что Лида стояла сбоку, выжидая.

– Дашь, может, Верочку мне, – сказал он. – Ты же измучилась.

А она как-то странно на него посмотрела и только сказала:

– Иди.

– Да что ты, Лида?

Она повторила так же:

– Иди. – А потом прибавила: – Да куда тебе, Женя! Пройди хоть один.

Перейдя на ту сторону, Женька стоял и, бледный, молча смотрел то на босые, черные ноги женщины, на диво уверенно, твердо ступавшие по осиновой жерди, то на руки, державшие девочку. Казалось, никакая сила не способна оторвать эти ноги от кладки, а руки – от ребенка.

Перешла! Перешла и опять поплелась за ними.

А Женьке хотелось прямо спросить: «Ты не веришь? Не веришь и мне?» Но спрашивать было страшно: а что, если она так же решительно, как дважды сказала «иди», ответит «не верю»?

5

Ах, опять этот плач!..

Девчушка до этих пор знала одно. В это время еще вчера на столе рядом с кроватью горела лампа. А она со своей мамой лежала под легкой дерюжкой. Лежала, правда, только мама, так как дочурка, как всегда, требовала своего. Кому какое дело, что она уже сыта, что пора бы подложить под пухлую розовую щечку маленький кулачок и спать, сквозь сон причмокивая губками! Кто станет оспаривать святое право младенчества? Девочка будет не только сосать: она поднимет глазки на мать и шаловливо улыбнется. Пускай только мама попробует не засмеяться в ответ. Она начнет целоваться, воркуя,

покусывая первыми зубками мамины губы. А потом, победив наконец, опять привстанет, поднимется и, нырнув, снова прильнет к груди.

А сегодня вдруг нашелся зверь, забравший у малышки сразу все. Вокруг темнота, холод, вместо горницы – лес. Мать сидит на земле, поджав холодные ноги, прижимает к себе свое сокровище и только чуть слышно, беспомощно шепчет:

– Рыбка… милая… что ж тебе дать?

Зверь выгнал их из родного гнезда, преследовал их пулеметами, минами и бомбами, иссушил в груди матери молоко…

И вот девочка напрасно пытается его вернуть. Уже не для забавы только, не для игры. Первый раз в жизни ее заставили испытать голод.

Она плачет. Это тихий и страшный плач…

А тут рядом в темноте кто-то ворочается на траве и опять недовольно бубнит:

– Эх, чтоб тебе… нет от тебя ни днем, ни ночью покоя. Доведешь ты нас до погибели…

– Кто тебя доведет? Скажи ты мне, кто тебя доведет? Ну скажи, что ты говоришь?!

Лида хотела еще что-то прибавить, но вдруг, снова представив весь ужас своего положения, она заплакала:

– Ах, Андрей, Андрей, был бы ты жив, видел бы!..

…Андрей видит. Он здесь. Он стоит перед Женькиными глазами, слушает, как горько плачут самые близкие ему существа. Презрительно и печально прищурив серые глаза, он говорит: «Эх, вы!..»

И за этими словами – боевые друзья, ночи засад и стычек, первые радостные сводки… И то время, когда они, еще до вступления в отряд… да какое там, собственно говоря, вступление! Тогда и отрядов еще не было, когда они, молодые комсомольцы, собирались в хате старшего товарища, Андрея, на хуторе и обсуждали с ним, с чего начинать…

Вот и Шура Сучок…

«Я бы, в случае чего, сразу дал бы вам знак, чтобы вы успели спокойно отойти…» – «А сам?» – «Сам? Черт его знает… Что ж, сам тоже что-нибудь сделал бы…»

Он ничего больше не говорит.

«…Если же по малодушию, трусости или по злой воле я нарушу свою клятву и предам народное дело, – встают перед Женькой слова партизанской присяги, – да погибну я позорной смертью от руки своих товарищей».

«Мы еще не нарушили ее, – думает Женька, – но мы уже встали на этот путь. Мы ослабели, испугались. А испугавшись, мы безвольно поддались самому трусливому из нас, потому что он обещал провести в надежное убежище. Вот только ребенок мешает нам, может выдать нас своим плачем… А если бы пришлось выбирать, кому спастись – нам или малышке, – что он выбрал бы, наш поводырь?.. А мы, вероятно, молчали бы, ведь теперь мы молчим, пока он вякает. Ну, а если у нас на пути, несмотря на всю лесную премудрость Середы, вдруг окажутся фашисты? Жизнь тогда можно будет купить только ценой измены, порожденной страхом. Что он тогда выберет, наш поводырь? А мы? Мы тоже будем молчать?..»

Опершись на левую, здоровую руку, Женька поднялся, расстегнул кобуру…

– Пора, Иван, – сказал он.

Тихий, даже слишком спокойный Федорин Иван, казалось, давно ждал этих слов.

Вдвоем они подошли к третьему. И Женька приказал:

– Встань, Середа! Поговорим.

6

Штаб группировки фашистских войск, которому поручена была ликвидация энского партизанского соединения, представлял себе дело так.

Лесной массив N является базой соединения. В центре этого массива, в самой, надо думать, дремучей чащобе, находится штаб, который руководит всей работой отдельных партизанских групп. Задача операции заключается в том, чтобы согнать все эти группы из всей зоны их деятельности в пущу, обложить эту пущу плотным кольцом войск и сжимать кольцо до тех пор, пока все силы соединения не будут собраны в одном месте, вокруг своего штаба. Там они будут разгромлены. Было предусмотрено и то, что при отступлении в пущу партизаны попытаются дать отпор. Он будет быстро сломлен натиском регулярных частей. Тогда будет применена тактика прочесывания с применением «загонов». По лесу протянется частый «невод» пехоты, который сгонит к центру пущи и больших партизанских рыб, и потрепанную в боях мелкорыбицу. Пехота должна пройти везде, так как для этого ей выданы резиновые комбинезоны, овчарки, достаточное количество боеприпасов. Тактика же «загонов» будет заключаться в том, что перед сетью пехоты будут выдвинуты засады на дорогах, просеках и тропках, по которым

побегут партизаны. Непроходимые места будут накрыты плотным огнем пушек, минометов и авиабомб.

План операции был задуман и разработан со всей немецкой педантичностью, однако он не дал тех результатов, на которые рассчитывал штаб группировки. Ожесточенные оборонительные бои на подступах к пуще доказали захватчикам, что способность сопротивления партизан регулярному войску с артиллерией, броневиками и самолетами учтена далеко не достаточно. Еще в меньшей степени учитывались так называемые «варварские качества» русских – партизанская сметка, выносливость и знание местных условий. Фашистский «невод» оказался на практике далеко не таким частым. Совершенно непроходимыми для этого «невода» местами, несмотря на щедрый огонь минометов и орудий, в тыл врагу пробирались партизаны. Пуща таила в себе недоступные острова, проходы к которым знали только местные жители. Там была укрыта безоружная часть ушедших в лес людей: старики, женщины, дети. «Невод» не везде также доставал до дна. Небольшие отдельные группы партизан рассыпались перед наступающими силами, зарывались под толстую овчину лесного мха, а на болотах прикрывались кочками и, слившись с местностью, отсиживались там до тех пор, покуда над ними проходила вражеская сеть.

Более того, было еще одно, не предвиденное фашистским штабом обстоятельство. Кое-кто из тех, кого они имели в виду, когда говорили о «крупных партизанских рыбах», совершенно неожиданно стремительным ударом прорывали «невод» и выходили из пущи в тыл силам блокады.

И вот еще что – главное из главного – тоже не было достаточно учтено врагом. Это – чувство родины, чувство великого, непобедимого единства советских людей, воодушевлявшее каждую группу, каждого отдельного партизана.

Существовал свой огромный родной партизанский мир. Для каждого, кто носил гордое звание народного мстителя, центром этого мира была его группа – отделение или взвод. За этим центром, самым маленьким, были центры побольше: для взвода – отряд, для отряда – бригада, для бригады – соединение. Энская пуща, как база соединения, со всех сторон – лесками, перелесками и родными полями – сливалась с другими массивами белорусских лесов, где также были партизаны. На севере, на юге и востоке соединения белорусских партизан действовали рядом с народными мстителями других братских республик. Так-то и образовался он, могучий партизанский мир, часть непобедимого всенародного фронта борьбы с фашизмом.

Нелепая мысль о том, что мир этот вдруг мог исчезнуть, способна была возникнуть среди крохотной его частички – у троих партизан из разгромленной разведки – только потому, что частица эта почувствовала себя оторванной от своего родного мира и на какой-то миг поддалась страху.

Тем временем их боевая семья – бригада «Сокол» – давала врагу отпор. Весь этот день на подступах к пуще кипел горячий неравный бой. Бой с врагом, превосходящим и количеством и вооружением. Только ночью, когда выяснилось, что фашисты прорвали партизанский фронт дальше на север и обходят соколовцев с тыла, бригада оставила позицию. Отойдя за ночь в глубь леса, на рассвете она круто повернула на юг. Штаб решил нащупать там слабое место во вражеском кольце, пробить это кольцо и выйти в тыл врагу.

На опушке Черного болота соколовцы встретили трех партизан и женщину с ребенком. Они шли на запад, в ту сторону, где, как они надеялись, и сейчас еще стоит на Немане их бригада.

– Кто вел? – тихо, наклонившись с седла, спросил комбриг, выслушав грустную историю о судьбе своих людей.

Ему было двадцать пять лет. С той ночи, когда он спустился на эту землю с парашютом, прошел всего один год. Отряд «Сокол» вырос в бригаду, а командир ее заслуженно носил далеко известное имя – Грозный. Однако внешний вид комбрига никак не соответствовал этому имени. Некрупный черный парень в кубанке всегда был весел и прост в обращении.

Он озабоченно смотрел с седла на трех разведчиков и тихо спрашивал:

– Кто вел?

И вот тогда вышло так, что небольшой коренастый лесоруб Середа, красный от напряжения и страха, шагнул вперед и доложил:

– Вчера вел я, товарищ комбриг. Прятаться вел. Струсил, как баба…

– Ты о себе, обо мне говори, – перебил его вдруг молчаливый Федорин Иван. – Как раз мы с тобой, брат, бабы, а не она…

Он показал на Лиду с малышкой на руках.

Тут грохнул смех. Они смеялись – до чертиков усталые, но непокорные, свои!.. Смеялись пешие, конные, смеялся и сам командир…

Только Женьке было не до смеха. Перед его глазами горько вставал этот день, целый день отступления во мхи, куда их вел Середа. Женька слышал теперь дружный смех товарищей и, казалось, готов был провалиться сквозь землю.

– Ну ничего, Сакович, случалось и такое, – сказал комбриг.

– Сегодня Сакович вел, товарищ командир… – заговорил снова Середа.

– Я вижу и сам, – перебил его комбриг. – Саковичу надо коня. Нестеренко, – обратился он к своему адъютанту, – в третьем взводе возьми. Ну, и этим соколам тоже. – Он с усмешкой показал на Ивана и Середу. – Хотя я с удовольствием послал бы их в пехоту. Пешим легче заслужить прощенье. Как, Середа?

– Я заслужу, товарищ командир…

– Ладно! Знаю и сам.

Оставалось только подать команду – вперед! Но комбриг не забыл еще об одном.

– Что, говорите, сделаем с женщиной? – спросил он.

Никто ничего не говорил. Грозный сам спросил и сам ответил:

– Женщину, конечно, здесь не оставим. Только и с нами ей делать нечего. А ну, позовите мне деда.

Дед – это был бригадный старшина. Усы у старшины еще совсем черные, но его все почему-то называют дедом. Был он из Гречаников, из одной деревни с Середой и одной с ним профессии – лесоруб. За сорок лет скитаний с топором старик изучил пущу, как говорится, назубок.

– Что, дед, до Праглой отсюда далеко? – спросил комбриг, когда явился старшина.

– Отсюда под солнце надо идти, – отвечал дед, не раздумывая. – До Чертова окна будет добрая километра. А там болотом еще километры три… А что?

– Как это – что? А семьи наши где? И надо туда отвести вот эту теточку с девчушкой. Как будто бы девочка?

– Девка, девка, товарищ комбриг, а как же, – отвечала Лида и в первый раз за сегодняшний день улыбнулась. – Моя партизанка.

«Девка» больше не плакала: она с озабоченным видом жадно сосала кусочек бригадного хлеба.

– Ну что ж, коли надо, так надо, – сказал, минуту подумав, дед. – Не хочется, правда, да девку жалко. Ну ты, сопливая, иди ко мне.

Верочка на диво доверчиво протянула ручки и даже сказала деду: «Ня».

– О, брат, не бойтесь, – сказал под хохот партизан дед, – она знает, с кем дружить. У старшины не только хлеб – у него и сальце найдется. Что, пойдем?

– Ну что ж, – спохватилась Лида, – дай вам боже счастья, товарищи дорогие.

Она протянула руку комбригу, Середе, Ивану и другим, стоявшим поближе. Когда же дошла до Женьки, о чем-то, видно, подумала или вдруг вспомнила, потому что неожиданно обняла его и крепко, как брата, поцеловала.

– Какой ты, Женя…

И заплакала.

– Ну, целоваться это дело такое, а плакать зачем? – пробасил дед. – Сказав это, он повернулся уходить, но тут же остановился. – Счастливо, хлопцы! – уже не сказал, а крикнул он, так как навстречу им поплыл, затопал железный, конный, гремящий поток.

– Счастливо, дед! – кричали конники. – Гляди там только, грибами не объешься!

И снова смеются, уже на рысях, – непокорные, славные хлопцы!

Лазунок

Поздняя ночь. Под ногами поскрипывает свежий морозный снег. Бесчисленные мелкие крупинки сверкают в тихом и грустном свете уличных фонарей. Иногда прогудит машина или, высекая дугой синие искры, прогремит почти пустой трамвай.

Над темными руинами и редкими огнями города снова, как до войны, перекликаются заводские гудки. И в ответ им с вокзала или с далекой окраины доносится задорный свисток паровоза.

Большие окна типографии лучатся ярким светом. Они будут светить всю ночь.

Стоит это громадное, уцелевшее от бомбежек и пожаров здание тихо, гудков здесь не услышишь. Только, проходя мимо него совсем близко, различаешь приглушенный стенами шум, похожий на шум морского прибоя. Это гудит печатный цех.

Ровным гулом рокочут огромные ротационные машины – комбайны печатного дела. Сипят и щелкают хлопотливые «американки». Монотонными раскатами гудят плоские машины. Они-то больше всего и напоминают морской прибой. И не только шумом. Глядя на талеры[5] этих машин, которые с мерным грохотом ходят из-под валов то взад, то вперед, вспоминаешь, как кипит на песке пена, как беспокойно шевелится галька, как взлетают ввысь всплески волн, в бессильной злобе штурмующие валуны.

…Мысли и образы заключены в свинцовые строчки набора. Полосы – страницы будущей книги – так же строго заключены в

---

[5] Талер – подвижная металлическая доска в печатных машинах, на которой помещается набор.

форму. По спусковой доске на барабан сползают белые листы. Один за другим набегают черные вальцы, и под ними исчезает заполненный набором талер. С барабана на металлические «пальцы» стекают отпечатанные листы. Рядом с машиной непрерывно растет кипа этих листов.

Подросток Михась Лазунок первую ночь стоит за машиной. Он полон радости: он печатает книгу.

Правда, наиболее сложная и ответственная часть работы сделана без Михася. Мастер сам спустил и приправил форму, сам отрегулировал накладку, сам сделал заливку и смазку машины. Михасю остается только следить, чтобы печать была хорошая. Мальчик, однако, чувствует себя почти настоящим мастером.

С высоты своих пятнадцати лет он важно глядит на машину. Хоть она и огромная, и хитрая, и много чего он в ней еще не успел понять, а все-таки она вся в его власти. Стоит только повернуть ручку влево – и эта махина остановится.

Да и кто же ему мешает воображать себя мастером? Настоящий, то есть взрослый, мастер, Иван Семенович, стоит далеко, около третьей машины. Рядом с Михасем работают такие же, как он, подростки. Все они – бывшие ученики ремесленного училища полиграфистов, первый выпуск после войны. Их школа находится тут же, на первом этаже. В типографии не хватало рабочих, и поэтому их выпустили из училища досрочно, в конце первого учебного года. Они успели пройти только половину курса. Да и этот год не был использован так, как следовало бы. Много времени заняла подготовка помещения и установка учебных машин, да к тому же зимой топили плохо, было очень холодно. И вот они пришли в типографию почти новичками в печатном деле. Однако, глядя на этих ребят, можно подумать, что каждый из них чуть ли не мастер. Почему же и Михасю не считать себя мастером?

А тут еще сам Иван Семенович поставил в наборе сбоку слово «Лазунок». Внизу каждого листа стоит цифра 3 и затем: «Якуб Колас. Трясина». Цифра 3 – это номер печатного листа, Якуб Колас – писатель, который написал книгу под названием «Трясина». Слово «Лазунок», фамилия Михася, поставлено на полях полосы потому, сказал мастер, что Михась сегодня в третьей смене ответственный за качество печати. Якуб Колас отвечает за то, как написана книга, а Михась Лазунок – за то, как она будет напечатана. Ну можно ли тут не гордиться!

Есть и еще одно доказательство самостоятельности Михася: к нему приставлена помощница – Люда Мирончик, тоже из их выпуска.

Она старше Михася, а все-таки стоит возле него только приемщицей. Можно даже время от времени сделать ей какое-нибудь замечание. Михась долго смотрит на то, как Люда снимает со стола отпечатанные листы и относит их на кипу. Все у нее идет гладко. К чему бы придраться?

– Гражданка, – говорит наконец Михась, – вы, может, поменьше хватали бы?

– Что? – переспрашивает Люда, не расслышав из-за шума машин.

– «Что, что»... Поменьше, я говорю, хватай!

– А тебе что? Ты, что ли, носишь-то?

– Как это – что? Приемка должна быть аккуратной. Не знаешь, что ли?

– Ай-яй, какой же ты стал начальник! За собой бы лучше смотрел!

Ну что ж, приемщица явно недисциплинированная. Но у «начальника» нет больше в запасе соответствующих его положению слов, и он решает отмолчаться.

Он засовывает в карманы замасленных штанов черные от типографской краски руки, пренебрежительно сплевывает сквозь зубы и отходит от машины.

Сосед Михася справа – Толя Косенок. Он стоит за машиной № 7. Он старше Михася на один только год, но ростом он выше Люды. Вообще весь их выпуск – сто сорок хлопцев и девчат – все выше Михася. За это Михася и прозвали Бабашкой[6]. Еще в начале учебы прозвали, как только ознакомились с пробельным материалом.

Бабашка, не вынимая рук из карманов, важно глядит на верхний лист продукции соседа. Тоже мне работа! Подумаешь – какие-то там бланки печатать! Черная рука оставляет теплый карман и переворачивает десяток-другой отпечатанных листов. Все одно и то же! Бабашка снова засовывает руку в карман, снова пренебрежительно сплевывает сквозь зубы и некоторое время думает над тем, как бы получше сказать Толе о превосходстве такой, скажем, работы, как печатание третьего листа «Трясины», над всеми видами мелких печатных работ – разными там бланками, билетами... Он только хочет начать, как вдруг сквозь гул машин доносится суровый оклик:

– Эй, малый!

---

[6] Бабашка – металлический брусочек короче наборной буквы, который вставляется в набор для образования пробела.

Это мастер. Бабашка, выхватив руки из карманов, лётом мчится к машине.

– Ты что, на работе или на базаре? – спрашивает Иван Семенович.

– На работе, товарищ мастер, – скорее покорно, чем растерянно, отвечает Михась.

– На работе, брат, не глазеют по сторонам. Это у тебя что? – Мастер показывает рукой на три измятых листа.

– Это, товарищ мастер, брак, – еще покорнее отзывается Михась.

Что тут еще можно сказать? Машина как будто в заговоре с Иваном Семеновичем. Так все хорошо шло, а как только Михась отошел, «пальцы» почему-то неудачно приняли два листа, смяли их, третий же лист и вовсе сошел с барабана разорванным. Хорошо еще, что мастер (ну и ловкий же он!) мигом заметил.

Как только Иван Семенович ушел, Михась, твердо решив больше ни на шаг не отходить от своей машины, начинает следить за работой «пальцев».

– Товарищ мастер! Товарищ мастер! – раздается тихий, приглушенный гулом машин голос.

Михась слышит его, но не оборачивается. Он знает: это Люда. Она стоит у кипы листов, отвернувшись, и делает вид, что чем-то занята.

– Михаил Батькович!

Михась не обращает на нее никакого внимания.

– Товарищ Лазунок, что это у вас? Неужто брак?

Люда не выдерживает: садится на кипу и звонко хохочет.

Желая показать девчонке, насколько он выше всех этих дурачеств, Михась начинает с невозмутимым видом насвистывать. Затем, немного успокоившись, он затихает, погруженный в свои мысли.

Подумаешь, сколько там этого брака! А все-таки…

Тут в памяти снова встает, как живой, тот самый старик.

Было это больше месяца назад, в школе. На переменке Михась со скуки надышал в замерзшем стекле небольшое круглое оконце. Стало видно, что делается на улице. Вон люди идут. Промчались три машины. Два солдата в полушубках проехали на санях возле самого тротуара… А потом Михась уже ничего не видел, кроме старика. Старик шел той стороной улицы, вдоль высокого серого забора. Степенно шагал по снегу, опираясь на палочку.

– Глянь, – позвал Михась Толю.

– Вот еще, Бабашка! И радуется, будто невесть что придумал! –

сказал Толя. И все-таки, наклонившись к Михасеву оконцу, он стал смотреть.

– Старика видишь у забора? – спросил Михась.

– «Видишь, видишь»! Я его знаю, не только что вижу. Он книжки пишет. Писатель Якуб Колас. Он в типографию раз приходил. Мне тогда завуч его показал. Наверно, книжку какую-то приносил новую… Да ты погляди, – сказал Толя, снова наклонившись к оконцу, – он и сейчас в типографию идет. Вот и папка под мышкой, как в тот раз!

Где там глядеть в оконце! Михась схватил шапку и выбежал на крыльцо.

Чтобы Колас обратил внимание на маленького типографского ученика, мальчику надо было хотя бы поздороваться. А он стоял, совершенно растерявшись от восторга. Впрочем, если бы даже он и поздоровался, Коласу трудно было бы догадаться, что творилось в то время в душе у Михася… Для этого нужно было бы о многом рассказать.

Прежде всего нужно было бы сказать, что в этой маленькой Бабашке, несмотря на его пятнадцать лет, бьется сердце мужчины. И о том рассказать, где и как оно, это сердце, так быстро возмужало.

…Фашистские бомбы не дали Михасю окончить четвертый класс. Вместо школы мальчик ушел с родителями в лес, к партизанам. Рассказать бы о том, как он сидел в болоте во время последнего окружения, как его там нашла и вытащила за ногу овчарка. Фашисты сначала били его так же, как и всех взрослых, а потом вместе со всеми повезли куда-то в товарном вагоне. Теперь он знает, что их везли тогда, чтобы сжечь в печах Тростенецкого лагеря смерти. Тогда он не знал этого, как не знал никто из взрослых. Михась не знал, но он не хотел, чтобы его вез куда бы то ни было проклятый, ненавистный враг; он на ходу выскочил из вагона, а потом катился, как подстреленный заяц, с высокой насыпи под откос. По нему стреляли, но впустую.

Потом нужно было бы еще рассказать о том, как он вернулся домой, в родной колхоз. Вернулся с мамой и Верой, старшей сестрой, а отец сразу же пошел вдогонку за врагом. Рассказать бы о том, как маленький четырнадцатилетний паренек шел сюда, в город, целых сорок километров пешком. Лидия Петровна, учительница, прочитала в газете, что тут открывается училище, в котором будут учить печатать книжки. И он сразу пошел. Как он блуждал по улицам совсем незнакомого города, пока не нашел себе приюта. Как он думал о хлебе, пока у них не наладилась столовая; как он мерз в своей курточке, пока им не выдали форменной одежды… Рассказать об

этом было нужно хоть бы для того, чтобы ясно было, что он, Михась, ничего не побоялся, что вот добился своего: он здесь скоро закончит учебу и будет печатать книжки. Напечатает тогда и Коласовы сказки и стихи, которые так волновали когда-то Михася…

Да, нужно, конечно, нужно было обо всем этом рассказать. Но бедный Бабашка не осмелился. Он так растерялся, что даже не смог поздороваться…

Большие окна типографии густо затканы причудливыми узорами мороза. За ними – поздняя ночь. А в цеху – несмолкаемый гул машин, однообразный, как шум морского прибоя. Из-под барабана на длинные стержни «пальцев» безостановочно плывут отпечатанные листы. Маленький печатник Михась Лазунок пристально следит за ними и мечтает.

А что, если бы сейчас вдруг открылась дверь и вошел тот самый старик? Вот он подходит сюда, к машине, и ничего не говорит, а просто берет верхний лист и молча смотрит. И, увидев, как аккуратно Михась Лазунок печатает его «Трясину», он говорит: «А как же тебя звать, хлопчик?»

«Ишь ты, тоже придумал! – вздрагивает Михась, как будто просыпаясь от сладкой дремоты. – Зачем он придет сюда так поздно? Да без пропуска его и не впустят. И вообще никогда он сюда не придет… А почему бы ему и не прийти? – снова возвращаются радужные мечты. – И пропуска ему никакого не нужно: его сам директор привел бы. Тут я его книгу печатаю, как же ему не взглянуть! А что, как и вправду сейчас…»

Ах, мечты! Не веришь, не веришь, а потом опять нет-нет да и посмотришь на дверь. Невозможное покажется таким возможным, что по всему телу вдруг забегают мурашки. Склонишься над листами – и покажется, что вот он стоит над тобой, старик, и смотрит… Станет так жарко-жарко, хорошо-хорошо. И прямо-таки веришь, что вот он стоит…

– Ну, помощник, как дела?

Ох, ты!.. Ну, чего? Это же мастер Иван Семенович смотрит на Михася и улыбается.

– Видишь ли, – говорит он, помолчав, – следить нужно старательно, со вниманием, но задумываться чересчур возле машины не стоит. Наше, брат, с тобой дело такое. Ничего особенного мы не придумаем. «Трясины» мы, браток, с тобой не напишем. А вот за эту штучку нам таки попадет…

Скажи ты, и как он все видит! Эта «штучка» – маленькое продолговатое пятнышко между строчек.

– А я, товарищ мастер, не заметил, – виновато говорит Михась.

– Ничего, проработаешь с половину моего – будешь замечать.

Иван Семенович поворачивает ручку мотора влево – и большая машина послушно прекращает работу. Пока он, засветив над выдвинутым талером лампочку, выправляет в пробельном материале эту «штучку», которая оставляет ненужное в книге пятнышко, Михась следит за его большими черными руками.

– Товарищ мастер…

– Ну?

– Можно мне взять один лист домой? Почитать.

– А ты любишь читать? – спрашивает мастер, не отрывая взгляда от талера. Он, как видно, совсем не замечает, что этим вопросом задел самое больное место в душе своего помощника.

– Да! – радостно говорит Михась. – Я читаю очень много. Потому что… посмотрите-ка…

Иван Семенович послушно перестает стучать и глядит на Михася.

– Работаем мы, товарищ мастер, восемь часов. Остается шестнадцать, – говорит Михась. На слове «восемь» он загибает один палец, на «шестнадцать» – два. – Ну, вот и читаешь.

Иван Семенович сметлив. Он сразу понимает, что главное тут – не «шестнадцать часов»…

– Тебе бы, парень, учиться, – говорит он, тепло глядя в глаза Бабашке.

– А я и пойду! В вечернюю школу для взрослых!

Пока Иван Семенович поправляет выключку, Михась решается наконец спросить о самом важном:

– Иван Семенович, скажите мне, а это вот слово… ну, фамилия моя на листе, она и в книге останется?

Иван Семенович и тут сразу догадывается, в чем дело.

– Известно, останется, – говорит он. – На то мы ее и поставили, чтоб осталась.

Говоря это, Иван Семенович как-то странно усмехается. Но Михась не замечает этого. Он улыбается открыто, радостно.

* * *

Несколько дней спустя главный редактор издательства, подписывая на выпуск в свет первый, так называемый сигнальный, экземпляр нового издания повести Якуба Коласа «Трясина», сделал техническому редактору замечание.

– В общем, впечатление довольно приятное, – говорил он, перелистывая книгу. – Почему, однако, уважаемый Лазарь Миронович, мы с вами никак не можем полностью избавиться от недочетов? Хоть два, хоть один, хоть маленький, а все-таки что-нибудь да есть. Вот и теперь: все как будто в порядке, так обрезка никуда не годится. Посмотрите сами.

Он повернул развернутую книгу боком. На полях, довольно далеко от края, стояло совершенно ненужное в книге слово «Лазунок».

– И вот тут, и тут… – перелистывая страницы, показывал главный редактор.

Увидев еще несколько раз это лишнее слово, технический редактор наконец согласился, что это хотя и незначительный, но все же недочет.

Согласиться с этим никак не мог бы только сам Лазунок. Какое там лишнее! Михась еле дождался того дня, когда в киоске появилась «Трясина» – первая книга, в создании которой он принимал участие.

И вот она наконец в его руках!

Иван Семенович сказал правду: на полях книги вон сколько раз повторяется фамилия Михася. Пустишь странички из-под пальца – так и мелькает: Лазунок, Лазунок, Лазунок… Жаль только, что кое-где слово это прихвачено ножом, будто распилено вдоль. Ну, да это мелочь! Бывают неудачи и похуже.

Бабашка долго стоит возле киоска, без конца перелистывая книгу, и глаза его улыбаются.

Снежок и Гуленька

Отчетливо и ярко, как человек, истомившийся от жажды, вспоминаю – вижу перед собой большое деревянное ведро, доверху наполненное холодной и прозрачной водой. Мама несет его по двору, а с крыши слетает мой голубь Снежок и садится на край ведра. Вода в ведре колышется, и пить неудобно. Но голубь пьет, а мама улыбается и ставит ведро на землю.

Мама умаялась: с утра на жатве, потом спешила домой подоить Краснушку, покормить меня – и снова в поле. Мы живем первое лето без папы, и маме трудно. Я сирота, но я мужчина, я хочу стать большим и все делать сам, чтобы маме было легче. Я хорошо пасу корову, чищу вечером картошку, хожу по дрова…

Бывает, правда, что я набедокурю, и мама сердится. Однажды так засиделся с удочкой на реке, что мама уже в темноте встретила меня на лугу. Краснушка сама пришла домой, и мама очень

перепугалась. А то раз мы с Михасем, моим дружком, стали вить кнутики. Веревочку подержать было некому, и мы оба конца положили под горшок с цветком. Мы только поплевывали на руки да вили, а горшок все ехал да ехал по подоконнику, покуда не шлепнулся на пол... Опять мама сердилась, а я опять обещал исправиться. И я стараюсь, а мама верит, что я хочу быть хорошим, потому что мама сама очень хорошая...

Это знает и Снежок. Вода понемногу перестает колыхаться, и он пьет, не отрываясь от ведра.

– Передохнул бы хоть! – говорит мама. – И правду говорят – «тянет, как голубь».

Она смеется. Я сижу возле ведра на земле, и мне так хорошо глядеть на веселую маму. Хорошо также смотреть, как мой Снежок сидит на краешке ведра, вцепившись в него красными морщинистыми лапками, а в воде, по мере того как она успокаивается, все отчетливее отражается его белая грудка.

Но вот он наконец напился. Взглянул на нас, нахохлился, как будто рассердился, и вскочил в ведро.

– О, вот так так! – И мама замахнулась на него.

– Ты не гони его, – кричу я, – не гони! Пускай искупается!..

Я говорю, что я сам принесу воды, но мама снова смеется.

– Ну где там – ты принесешь! – говорит она. – Силач нашелся! И сама принесу. Да он и не замутит воды: он чистенький.

Снежок воды не замутил. Когда он искупался и мама поднесла ведро к порогу хлева, Краснушка стала спокойно пить. Пьет она так же жадно, как голубь. Покуда он пил, Краснушка глядела на него из хлева, из-за жерди, которой заложена дверь, и даже разок замычала от зависти.

Краснушка пьет, а мне приятно смотреть, как быстро опускается в ведре вода. Потом корова чмокает губами, высасывая остатки воды, и жадно облизывает мокрое деревянное дно шершавым, щекочущим языком. Я с удовольствием подставляю свою маленькую ладонь под холодную, мокрую морду.

– Я принесу еще, – говорю я. – Принесу!..

Но мама не дает мне ведра.

– Принесу и сама.

А мой Снежок тем временем на крыше.

Он укоряет в чем-то свою голубку, сердится на голубят. Они по ту сторону крыши, в тени, и мне со двора их не видно. Виден только Снежок, сидящий на самом коньке. Он надувается, как индюк, и кружится волчком. И все ворчит, ворчит... Я понимаю, что́ он

говорит. Он сердится на свою белую подружку Гуленьку, которая слишком балует птенцов.

«Упр-рям-ство, упр-р-рям-ство! – сердится он. – Им, гуленам, и на р-р-руку, а ты им больше пот-твор-р-ствуй!»

«Не гулены, не гулены, а гу… а гу… а гуленьки», – воркует в ответ тихая, ласковая голубка. Она уже вышла на гребень крыши и обхаживает своего сварливого дружка. «Куда летать, зачем летать? – старается она защитить детей. – А вдруг коршун, а вдруг корр-шун, агу, агу, агу-леньки!..»

«Какой корр-ршун? Какой корр-ршун?» – еще больше возмущается Снежок.

Наконец, как бы высказав все, что нужно было, Снежок поднялся, захлопав крыльями. За ним взлетела его послушная Гуленька, а вслед за ними – птенцы.

Птенцов двое, и я никому не говорю, что все еще никак не могу распознать, кто из них голубь, а кто – голубка… Они еще пищат и часто тянутся к клювам родителей. Снежок зря на них ворчит – они летают очень охотно.

Но Снежок уже не сердится. Он поднимается все выше, выше… Потом вдруг останавливается и, словно уцепившись лапками за какую-то невидимую, натянутую в вышине ниточку, начинает отчаянно кувыркаться. Кувыркается он очень ловко, через спину. Ниточка, должно быть, не одна – они натянуты, как телеграфные провода. Снежок, начав с верхней, цепляется за каждую из них, – все ниже, ниже, ниже! – а потом, перебрав все, снова взлетает ввысь. Рядом с ним кувыркается и кружит белой пушинкой на ветру маленькая, быстрая Гуленька.

Только молодые «гулены», как называет их Снежок, не умеют еще кувыркаться. Они несмело приседают на распущенные хвосты, трепыхают крыльями, как жаворонки, и снова принимаются летать…

А я гляжу и не могу наглядеться.

* * *

Он был смелый и гордый, мой голубь Снежок.

Зимой, когда я, увязая в снежных сугробах, шел из соседней деревни и нес его за пазухой со связанными лапками и крыльями, я никогда не думал, что он такой забияка.

До этого у нас голубей не было. Гуленьку дал мне двумя днями раньше Михась. Дядя Степан, мамин брат, подарив мне Снежка, сказал, что первую пару лучше всего приручать в хате. И в хате у нас

стало очень весело.

Снежок и Гуленька скоро нашли себе удобный, тихий уголок в запечке и начали вить гнездо. Тут уж я помог им – рассыпал у печки солому. И очень забавно было смотреть, как они таскали ее, ухватив соломинку клювом.

– Строятся, – говорила мама. – Вроде – бревна из лесу возят.

А вскоре, сунув руку за печку, я нащупал под голубкой маленькое теплое яйцо. Правда, добраться до него было не просто. Снежок злобно гудел, клевал меня и хлестко, больно бил крылом по руке. Но меня этим не отгонишь.

А вот на следующую зиму он из-за этой своей смелости и погиб.

Еще не прошел февраль, холодно было даже в хлеву, где стояла Краснушка, а голуби в старой, дырявой кошелке, подвешенной под решетиной, высидели голубят... Пару молодых я осенью отдал Михасю, как мы с ним и договаривались, когда он давал мне Гуленьку; и зимовали у меня только Снежок да Гуленька. Птенцов я заметил не сразу, хотя и заглядывал в хлев ежедневно. Приходил сперва днем, а потом, когда наша Краснушка привела теленка, приходил с мамой и вечером. До чего приятно было смотреть на пестрого бычка, как он лежит на чистой соломе, поджав ножки и расставив уши! До чего приятно было слышать, как в подойник, журча, бьет молоко, которое я скоро буду пить с хлебом, как над нами, встревоженные шумом и светом, ворочаются и воркуют в кошелке голуби! Днем я всегда приходил смотреть, как мама поила Краснушку или приносила ей поесть. А то заходил и так.

И вот однажды я услышал в кошелке под решетиной знакомый писк. «Неужели птенцы?» – обрадовался и удивился я. Так вот почему они, Снежок и Гуленька, последнее время по очереди сидели в гнезде, вот почему оттуда доносилось их радостное воркованье!

С загородки, откуда мы кидали для Краснушки мешанку из соломы и сена, мне не так уж трудно было добраться до балки, а с балки я, держась обеими руками за стропило, по решетинам, как по лестнице, взобрался к голубиной кошелке. Одной рукой пришлось держаться, чтобы не упасть, а другую я засунул в гнездо. Это было не просто – Снежок больно клевал меня и бил крылом. А все-таки я нащупал под ним на соломе два тепленьких мягких комочка. От радости я спрыгнул прямо на навоз и побежал с этой вестью в хату, а потом – к Михасю.

Но недолгой была наша радость – ее украл Сымонов кот Жандарм.

Жандармом его называла моя мама. Он был большой, хмурый,

усатый и шкодливый. Мы с Михасем не любили его и гоняли отовсюду, где бы ни встретили.

Ворюга знал, что оконце в нашем хлеву зимовало без стекла и мы затыкали его соломой. Краснушке было от этого теплее, но зато темно. Еще хуже было сидеть в темноте и взаперти голубям. Когда потеплело и засветило солнце, я вынул из окошка солому, чтобы всем в хлеву стало лучше: и Краснушке с пестрым бычком, и голубям с голубятами... И вот Жандарм подстерег, когда я, вернувшись однажды поздно вечером, забыл заткнуть оконце соломой, и забрался в хлев.

Снежок погиб сражаясь... Чудак! Он думал, как от моей руки, отбиться от хищника маленьким клювом и крыльями.

Утром я заметил на снегу у хлева белый пух и перья; их было еще больше на подстилке, куда они падали из кошелки.

В гнезде были одни птенцы. Кот, видно, забрался туда на рассвете, потому что голубята еще не замерзли, были как будто живы, особенно один.

Этот и выжил. Я накормил его изо рта, согрел в руках и посадил в запечек. А тогда побежал к Михасю. Вместе с ним мы придумаем, что делать. Главное – это, конечно, проучить Жандарма.

Когда я вышел из хаты, с крыши хлева поднялась, захлопав крыльями, Гуленька. Она испугалась даже меня. Она полетела куда-то, видно не осмеливаясь проникнуть через оконце в хлев. Верно, она погибла где-нибудь, потому что с тех пор я ее не видел. А мне очень хотелось поймать ее и принести в запечек.

* * *

Снова весна. Снова наш двор засыпан белыми лепестками вишни. Краснушка лежит у плетня, на солнышке, спокойно смотрит на меня и жует жвачку. Она всегда жует, хотя не всегда есть что жевать. Сегодня мы с Михасем ловкую штуку выкинули – пустили своих коров пастись на панском лугу. Краснушка, как сообщница, и сейчас молчит, как молчала зимой, когда я тишком добавлял ей в мешанку побольше сена. Тогда мама поймала меня и поругала, а теперь я сам признался, похвастался ей нашей удачей.

«Остерегайся, сынок! – сказала она. – Попадешься им в руки – не помилуют».

Но я не боюсь. Что луг этот не панский, а наш, деревенский, – я уже слышал, и не раз. Что панов все равно не будет – через год или через два, – я тоже знаю. Об этом у нас и говорят и песни поют.

Панов не будет, а наши коровы уже теперь хотят, чтоб мы пасли их на панском лугу. Поэтому сегодня мы с Михасем – молодцы.

Я уже стал больше, чем в прошлом году: я сам вытаскиваю из колодца большое деревянное ведро, сам несу его в хату и смеюсь, вспоминая про Алеся, о котором мы читали недавно стишок Якуба Коласа:

Хлопец-молодчина,
Тащит он ведро с водою,
Как взрослый мужчина.

И вот я, мужчина, несу от колодца полное деревянное ведро воды, а с крыши слетает мой Снежок и садится… уже не на край ведра, а прямо мне на плечо. Потому что это уже не тот Снежок, а сын его, которого я сам выкормил.

Я ставлю ведро на землю и подставляю голубю ладонь. Снежок, как по бревенчатой кладке, идет по моей руке от плеча вниз и, остановившись на ладони, начинает ворчать. Он надувается и кружится волчком и все ворчит, ворчит мне прямо в уши. Я понимаю, что он говорит. Он жалуется мне на тихую белую голубку Гуленьку, которую я принес недавно от Михася.

«Упрр-рям-ство! Упрр-рям-ство! – ворчит, сердится мой белый питомец, рассказывая о своей пугливой подружке. – Ты не корр-ршун? Ты не корр-ршун?..»

– Нет, не коршун, – смеюсь я и глажу Снежка, успокаиваю его.

А Гуленька смотрит на нас с крыши и, как будто ей плохо видно, то и дело задирает свою маленькую хохлатую головку.

Чудак ты, голубь! Ну что за диво, что ты меня не боишься! Давно ли ты, еще не умея летать, ходил за мной по хате, пищал и, растопырив крылья, кланялся, просился на руки? Давно ли ты на дворе слетал с крыши ко мне на плечо и совал клювик мне в рот, просил есть? А сегодня ты уже взрослый, герой!

И ты уже кружишься, ворчишь, как твой отец, всегда недовольный воркотун. А ну, лети!

Я подкидываю Снежка на ладони. И разом с ним, захлопав крыльями, взлетает с крыши и Гуленька.

И вот они кружат в чистом голубом небе. Добравшись до тех, натянутых в вышине и никому не видимых проводов, мой белый красавец цепляется красными лапками за них и начинает кувыркаться. Рядом с ним кувыркается и кружит вокруг него белой пушинкой на ветру маленькая, тихая, быстрая Гуленька.

Пускай кувыркаются! Им будет у меня весело, спокойно, хорошо. Жандарм больше не разрушит их гнезда: мы с Михасем проучили негодника. Мы с Михасем такие теперь сделали голубятни, что никто не доберется, никто не достанет!

И я гляжу вверх, гляжу и никак не могу наглядеться…

Галя

Когда-то, при панах, это был хутор. С шестью десятинами доброго поля сразу за садом, с новым, обширным гумном, двумя хлевами и маленькой древней хаткой. Четырехскатная соломенная, позеленевшая от мха крыша низко надвинулась на крошечные, подслеповатые оконца. Так и глядела хатка на белый свет с прищурью, совсем как ее хозяин Данька, старик Хаменок, безлобая голова которого точно вросла в зимнюю шапку, облезлую, бывшую когда-то, если верить старику, городской каракулевой папахой.

Теперь эта шапка все еще валяется где-то на чердаке, а сам Данька Хаменок лежит на пригорке под соснами и муравой. От хутора уцелели только сад, скрипучий журавль над колодезным срубом и та самая хатка.

В хате из всей Хаменковой семьи осталась невестка Галя с детьми: мальчиком и девочкой.

Тихий августовский вечер. Солнце уже зашло. Галин сын, подросток Антось, ушел в поле к молотилке. На верхушке старой липы за огородом погасла рдевшая листва, скворцы вспорхнули и перенесли свой базар в деревню. Под навесом за сенцами, отдав вечерний удой, улеглась на свежей подстилке корова. В хате за столом сидит черноволосая Сонечка, большими глотками запивая хлеб парным молоком. Тонкие загорелые ее ножки, как всегда у пастушков, исцарапаны жнивьем. Сонечка помыла их у колодца холодной водой, и ноги саднит до самых коленок. Она то потирает их одну о другую, то просто болтает ими под высокой лавкой. Сонечке хочется поговорить.

– Мамка, – говорит она, – а сегодня Степанов Леня надо мной смеялся. Ты, говорит, пани. Ты, говорит, хуторянка. А почему? Почему он смеется?

Галя стоит, опершись о шкафчик с посудой, даже чуть присев на него. Над головой у Гали на стене старые часы. На запыленном их циферблате не нашими буквами написано какое-то слово. Многие годы висят здесь часы, а никто и не полюбопытствовал, что оно означает. Вообще в часах разбирались только мужчины и Галя.

Свекровь прожила свои семьдесят лет, ни разу не подумавши даже о том, какое сегодня число... Длинная стрелка часов сломалась еще во время войны, короткая застыла на месте уже недели, должно быть, три.

Жатва.

Галины руки, загорелые до локтей, гудят от усталости. Галя все еще как будто не дома. Перед глазами бесконечной цепью, одно за другим, движутся свясла, свернутые ловкими пальцами, один за другим ложатся на жнивье тяжелые снопы. В ушах все еще звучат стрекотание жнейки, отдельные слова, обрывки песен, смех, шум колосьев и шорох соломы...

– Мамка, почему?

Галя старается вспомнить дочкины слова.

– Почему? – переспрашивает она, еще не зная, что ответить.

И Сонечка отвечает на вопрос сама.

– Мы, говорит, в деревне живем, – повторяет она с полным ртом, – а вы на хуторе. И дед твой был пан, и отец – пан, и ты тоже паненка.

– А ты скажи ему, что он еще дурень, – отвечает Галя каким-то расслабленным, глухим от усталости голосом.

Она хотела еще что-то сказать, но вдруг умолкла. Слух ее снова уловил все тот же на миг утерянный гул. В хате, под старыми часами, снова стоит будто не она, душа ее еще там, в поле.

– Ты ешь, дочушка, – сказала она. – Ешь и ложись. Пора.

– А ты куда-нибудь уйдешь?

– Я скоро вернусь.

...Галя стоит за вишняком, опершись руками и грудью о серую слегу старой изгороди. Галя глядит в поле. Ноги в терпкой холодной росе, глаза где-то далеко-далеко... В пшенице, доходящей до самого вишняка, стрекочут кузнечики. Поодаль направо стоит в пучках лен; тоже много-много льна. Еще теплый, не остыл от солнца, пахнет, вкусно пахнет, как поджаренное масло. А над пшеницей, над льном, над обильной, спокойной землей, высоко в небе – полная и всем довольная луна.

Но все это между прочим, все это для того, чтобы мог далеко над полем разноситься гул. Где-то там – он, сидит за рулем, единственный в мире, которому от боли в сердце, от тяжкой печали хочется крикнуть:

«Сер-ре-жа-а! Се-реж-ка-а!..»

Он давно уже Сергей, а не Сережка, он давно уже, верно, забыл, стер из памяти все, что когда-то было. А ты кричи, ты вспоминай,

раздирай свое сердце, глупая, хоть до крови…

А ведь было это, было, когда она могла звать его Сережкой. Ох, как давно это было! Да нет, недавно, будто только вчера.

Галя еще только в девки выходила, когда в их деревню Гаросицу пришли из Костюков портные-овчинники, два здоровенных хмурых брата. Оба в больших овчинных кожухах, как бы в доказательство того, что не всегда сапожник ходит без сапог; оба в огромных шапках, точно из целой овечки, в лаптях и оба усатые.

– Девки, глядите, Торбы идут! – заметила из окна одна из прявших куделю девчат.

Овчинники и вправду так звались – Торбы. Тимох Торба и Тихон Торба. Мало знакомые и не различали, который Тихон, который Тимох.

– И какой-то хлопец с ними, девки, ой! Ей-богу, хорошенький! С гармошкой!

И в самом деле, с овчинниками шел парнишка… Ну просто мальчик! В коротком кожушке, в сапогах, с гармоникой за спиной. Одна из девчат постучала головкой веретена в окно, он, должно быть, услышал, обернулся. Помахал рукой и остановился, засмеялся: «Добрый день!» Может, даже и зашел бы, да один из Торбов, который шел с деревянным метром в руках, тоже оглянулся, сказал что-то, и хлопец пошел дальше. Странным показалось девчатам, да и всем в Гаросице, что у одного из этих Торбов вдруг может быть такой сын. Такой беленький, складный, совсем не похожий на этих двух усатых здоровяков.

Он оказался их племянником, сиротой из дальней деревни. Звали его Сергей, а фамилия тоже чудная́, как и у дядьев, но красивая – Юрочка. Очень она подходила Сергею. Так его и называли: кто – Сережа, кто – Юрочка.

Ну и ловкий, веселый был Юрочка, хороший! Дядья его огромные, а все же умещались и в самой маленькой хате. Снимут шапки свои, кожухи, одни усы при них останутся, присядут у стола – только сопят над овчинами. Так и живут на свете – молчком. А Юрочке в любой хате было тесно. Понятно, не одному – с гармоникой. Иной раз и до вечера не дотерпит: воткнет иголку в рубаху на груди, обернет вокруг нее нитку, оглянется на дядьев – и за свой инструмент. Все у него как полагается. Гармоника не как-нибудь, а в теткин платок завернута. Развернет платок – гармоника прямо блестит, а растянет ее – просторнее станет любая хата!

Один-два танца проиграет – дядья молчат. Потом старший Торба, Тимох, тот, что с метром ходит, пробасит:

«Может, хватит, Сергей? Может, люди не любят!»

В ответ на это Юрочка круто, с разгону переходил с вальса на «Микиту».

Все находившиеся в хате, казалось, сразу молодели. Девчата, ну, те, известно, тут же готовы были сорваться со скамеек, поднять ветер широкими юбками. Сам хозяин, если он не слишком еще стар, начинал незаметно притопывать под лавкой носками лаптей. Даже бабка, которая еще барщину помнит, и та свешивала голову с печи… А Юрочка потряхивал чубом и под музыку напевал:

А Микита жито веет,
Микитиха муку сеет.
Микитá, Микитá,
Клином шубонька сшитá!..

Хорошо, звонко пел гармонист!

Только дядья слушали молча. Даже шить не бросали. Да тоже не скажешь, что им не нравится, тем более, когда знаешь, что и гармонику Сергею купили они.

Веселый месяц был тогда в Гаросице. Танцы, песни – каждый вечер! Жаль, что не хватило овчин на всю зиму…

Ой, мамочки! Для всех веселый, а уж для Гали… и не говори!

Все это прошло.

Сейчас над полем тихая полная луна. Галины ноги в холодной росе. Плечи стынут под тонким платьем… А трактор гудит и гудит… Не уйдешь от того, что было, не забудешь, что это Сережа, ее Сережа. Боже мой, как горько, как больно от этой мысли! А ведь было это: они так горячо, так много целовались. Да недолго, всего одну неделю, а в неделе ведь только семь ночей…

Первой полюбила Галя, сама боясь признаться себе в этом, стыдясь лишний раз взглянуть на него, чтобы не подумали чего, не узнали. Она была моложе всех в их девичьей компании. Сирота из самой бедной в Гаросице хаты – Марыли Батрачихи. Так их спокон века и называли – Батраками. Отца у Гали не было. Никогда не было, хотя и жил он где-то, а может, и сейчас живет, даже не думая о том, что есть у него дочка. Мальчишки на выгоне называли ее иной раз грубым, безжалостным словом – «байстрючка». Но со временем слово это отстало от нее, как шелуха. Красивой, складной росла Галочка. У бедной сироты только и было – хорошо это в песне поется! – что черные брови. Зато брови шнурочками, большие карие очи, маленькие ловкие руки и легкие ножки. Красная косынка с

вышитыми спереди пшеничными колосьями, как-то по-своему, на особый лад повязанная на черных густых волосах, была в этой сиротской красоте чем-то очень существенным, необыкновенно удачно найденным, от чего с ума сходили чуть ли не все гаросицкие хлопцы. А пойдет Галя плясать – глаз не отведешь!

Сначала и Юрочка только глаз не сводил. Глядел и почти без отдыха наяривал на своей гармонике. Понятно, плясать под хорошую музыку каждому охота, а подменить Сережу было некому…

Но вот однажды в воскресенье пришел из соседней деревни Кочаны Иван Черногребень, который тоже умел играть. Это был уже солидный кавалер, подпольщик, шесть лет он просидел в тюрьме, только этой осенью вернулся. Молодые хлопцы в Гаросице и особенно девчата – хотя он был простой и веселый – невольно, не сговариваясь, уважительно говорили Ивану «вы». В то время своей гармоники у Черногребеня не было. Покуда сидел в тюрьме, матери пришлось круто, и сын написал ей, чтоб продала трехрядку на хлеб. Только позднее узнала Галя, что Сережа был уже знаком с Иваном. И не только знаком… Не раз ходил он ночью в Кочаны, да без гармоники – по каким-то тайным делам… Но об этом он не успел ей ничего рассказать.

Теперь, когда Юрочка поставил на колени Ивану свою гармонику, они по-свойски улыбнулись друг другу. Один с просьбой: «Не резанешь ли, Иван Степанович, на радость да на легкий пляс трудящимся?», другой – с каким-то не по возрасту молодым задором: «Резану, браток, давно уже не приходилось!»

И Черногребень резанул. Не так, правда, как Сергей, но все-таки полечка «Галка» пошла «с ветерком».

Юрочка мотнул головой, отряхнулся, как выпущенный из горсти воробей, поправил поясок на вышитой рубахе и направился в угол, где сидели девчата. И хата, полная людей, насторожилась. «Меня возьмет, меня», – засветились глаза, забились сердца девчат. А он подошел к Гале. Просто и ловко, как все, что он делал, Сережа поклонился. И с такой улыбкой, что все в ней разом – и просьба и радость: «Наконец-то мы пойдем!»

И вот они вошли в круг, взялись за руки.

Мужчины приподнялись на лавках, женщины напирали из угла на стоявших в середине, молодежь точно замерла в ожидании чего-то, что далеко не каждый день можно увидеть.

Выждав такт, Юрочка притопнул и завертелся. Его сапожки то чуть касались досок пола, то вдруг гулко и отчетливо – на поворотах влево и вправо – отбивали, точно выговаривали, чечетку. Возле его

светловолосой головы так и мелькало румяное личико под красной косынкой. А все-таки можно было приметить, разглядеть и золотые колоски на красном фоне, и черные брови, и губы, не умевшие сдержать улыбки стыда и счастья… Все это видели, а Юрочка – лучше всех.

– Круг, круг давайте! – кричали парни, хотя никто из них пока и не думал сам идти в пляс.

А круг все сужался, не сдержать его было и десяткам плеч.

Дядька Роман Кругляк, старый уже, седой человек, взобрался с валенками на лавку и оттуда, подняв большой палец, вот-вот готов был выкрикнуть: «Эх!»

Как бы почуяв это общее восхищение, Юрочка запел:

Черна галка,
Черна галка,
Ты моя!
Ты моя!..

На этом песню его прервали.

– Правильно, Юрочка! Правильно! – загудела, вздохнула с облегчением хата.

И только тогда, как бы считая, что все уже в полном порядке, молодежь пустилась в пляс.

Так началась их любовь.

Это было только вступление к большому счастью, которое должно было прийти, которое зародилось в ту ночь, когда он целовал ее у окна, а Галя закрывала лицо руками и просила: «Сережа, миленький, не надо…» Но разнять эти руки ему было совсем не трудно, а счастья, хмельного счастья, они никак не могли напиться вдосталь, хотя и простояли на снегу чуть не до рассвета.

Через неделю Юрочка ушел с дядьями в Костюки, домой.

Кто мог подумать, что прощание их навеки!..

А теперь вот стой да слушай, как за пшеницей, за выдерганным льном гудит его веселый, работящий трактор. Думай о первой своей любви, кричи, сходи с ума и кричи, чтобы вспомнил тебя и пришел. С ним когда-то и на снегу тепло стоять было, а теперь тебе, баба, холодно уже и от летней росы. Иди, иди, глупая, в хату, зря стоишь… Пускай гудит трактор, пускай не дает тебе спать до утра!

Галя тихо пошла.

Двери и в сенцах, и в кухне, и в горнице старые, скрипучие. Как ни остерегайся, все равно скребнут по сердцу. В хате темно. Стоит-то

она окнами на юг и на восток, но оконца эти глядят из-под нависшей крыши, как хмурый человек: только под ноги. Галя идет в угол, где стоит кровать, наугад, на ходу расстегивая платье. Раздевшись, она ощупывает край постели и осторожно ложится. Но все это напрасно. Сонечка до сих пор не спит. Щека на подушке, рука под щекой, глаза глядят во тьму. Галя нащупывает рукой ее теплые, хрупкие плечики и прижимает девочку к себе вместе со всеми ее мыслями.

– Мамка, а где наш папа?

– Спи, доченька, он скоро приедет.

– «Приедет, приедет»... Я маленькая была, ты все говорила «приедет» – и теперь говоришь. Мамка, а папа хороший?

– Хороший, хороший...

– А Ленька, дурень, говорит, что папа не в городе, что он в остроге сидит, что он... Как это, мамка?

– Что?

– Ну, как это... Ой, я забыла!..

– Ты спи. Завтра опять вставать не захочешь.

– А Ленька говорит...

– Да замолчи ты! – крикнула Галя и сама удивилась неожиданной злости.

Девочка вздрогнула и затихла. Сейчас бы ей как раз и заплакать от обиды, но она минутку помолчала, потом теплая тонкая ручка ее потянулась к Галиной шее, обняла и, казалось, неудержимой силой снова притянула мать к себе.

– Я, мамка, буду спать. И ты спи. Ладно?

– Ладно. Ты только повернись к стене... Вот на этот бочок...

Нелегко Гале произнести сразу столько слов. Но вот малышка затихла. И хорошо. Так лучше и для нее, и для матери.

«Рано ей еще видеть мои слезы, рано знать, что я думаю о том, кто стал, на горе наше, ее отцом и... моим мужем... Давай, доченька, уснем лучше...»

Над низким потолком, над крышей – высоко над хатой стоит в небе тихая полная луна. За пшеницей, за душистым льном остановился где-то в поле трактор. Спи, молодица, не успеешь отдохнуть, пока луна погаснет. Спи, спеши уснуть, пока тракторист и прицепщик перекуривают... Но она, конечно, не уснула. Да и не старалась, видно. И трактор снова гудит, снова катится над полями, как волна на большом озере, его бодрый гул.

– Мамка, а я уже вспомнила: наш папа – спе-ку-лянт... А что это, мамка? Ты спишь?

Галя молчит.

«Не в том только беда, что он, твой отец, спекулянт. Но я покуда помолчу. А ты лучше спи, не забивай голову такими мыслями. Пускай уж мать – ей поделом, она заслужила,– пускай лучше мать подумает...»

Сергей не явился больше в Гаросицу – ни шить кожухи, ни целовать свою Галю, ни тайком от нее ходить в Кочаны. Вскоре после их первого расставанья его, комсомольца, паны посадили за решетку. Не одного, конечно, – взяли с ним вместе и других, из Гаросицы и из Кочанов. Опять пошел в тюрьму и Иван Черногребень.

В сентябре тридцать девятого года, вернувшись в родную деревню, Сергей узнал, что дивчина его за другим.

Как это случилось, что молодой Хаменок, сын Даньки, взял дочку Мары ли Батрачихи?

Глядя со стороны, пожалуй, нечему было и удивляться. Он, видно, так влюбился, что пошел против воли родителей. Ну, а на Галином месте не одна бы за него вышла. Такой, люди милые, хутор, да и парень – ничего не скажешь. А что свекор лихой, так ведь не с ним же, не с Данькой слюнявым, жить. Придет час и на Даньку.

Сама Галя знала другое. Микола домогался ее давно, еще до Юрочки. Слух об аресте Сергея, Галины горькие слезы были для него радостью. Сначала она, понятно, и слышать не хотела, а потом грусть немного утихла. Микола же с каждым вечером был все настойчивее и настойчивее. Даже плакал и грозился, что наложит на себя руки, зарежет и ее и себя... Защитить ее было некому. Об этом счастливом замужестве трубили не только чужие: и родные и мать были на его стороне. В первый раз он взял ее чуть не силой. Сразу свет застил. Оставалось только плакать и молча пойти за ним, у него же и искать спасения от позора. На Данькин хутор она пришла еще совсем девочкой. Когда же молодица не могла уже скрыть того, что стало заметно раньше, чем дома ожидали, – в вечном зудении свекра только и слышно было: «Байстрючка, нищенка, неудаха...»

В последнее слово он вкладывал свой особый смысл. Она была и ловкая и работящая, да что толку. И жить и работать нужно для того, чтобы быть богатым. Хаменок жил для гумна. Голова под облезлой шапкой и старая хатка на взгорке значили для него куда меньше, чем это гумно. Гумно должно было быть всегда полным. Для этого нужно иметь поле. Большое поле – полнее будет гумно. Меньше поспишь – больше наработаешь. Не съешь, не сносишь – больше останется. Собираясь женить сына, Данька переложил гумно, расширил его для тех снопов, которые придут сюда с поля снохи. А сын с ума спятил... Галя была для Даньки не член семьи, она только заменила батрачку.

Сколько бы она ни работала, все не то. Никогда ей не отработать разочарование, урон, нанесенный Данькиному хозяйству.

Микола только сначала, до свадьбы, казался непохожим на отца. Здесь, на хуторе, когда она с ним перешагнула порог этой чертовой ямы, Хаменок показал себя Хаменком.

Свекор Данька... Три раза за все время видела она ласку от этого человека.

В первый день после свадьбы свекровь сварила чугун картошки в шелухе и в чугуне же поставила на стол. Данька снял свою шапку, разгреб руками волосы, перекрестился и сел за стол.

– Масла, может, немного растопишь, – сказал он жене.

Это была послушная, тихая, верная женщина; лет сорок уже она молчала, как выносливая, неприхотливая кляча. Пошла в кладовку и вернулась с ложкой масла. Его было мало для целой сковородки. Еще раз возвращаться в кладовку, снова лезть в горшок – это было уже выше ее сил, да и не в хаменковском обычае. И старуха схитрила перед новым членом семьи: повернулась спиной к столу и плюхнула в масло три ложки горячей воды. Все это видели, но каждый смолчал. Галя удивилась, Миколе стало даже неловко, а старик был доволен вдвойне: и хитростью своей хозяйки, и тем, что этой хитрости никто, как видно, не заметил... Черными ногтями давно не мытых рук он чистил свою картошку и, щурясь, молчал. Затем стал макать ею в «масло». Чем больше откусит от картофелины, тем глубже лезет щепотью в жижу.

– Ешь, невестушка, ешь, – говорил он. – Дома-то у вас не было. В нужде росла. Макай.

Во второй раз услышала она ласковое слово через полгода, в летнюю ночь. Миколы не было дома, старуха кряхтела на печи, а старик еще бродил по двору. Потом он постучал грязной щепотью в окно и совсем неожиданно позвал невестку по имени:

– Галя!

Она даже вздрогнула.

– Иди сюда, Галя!

Удивилась. Вышла. «Чего ему нужно?..» Данька затрусил по стежке туда, где у поля разросся вишняк. Остановился. Она подошла и остановилась поодаль.

– Ночка какая, а? – сказал старик. – Клевер-то как пахнет Семенов, будь он неладен... Сколько копен!.. Пойди, Галя, возьми вторую дерюжку. Сходим еще разочек, принесем. Зимой лишнюю охапку где найдешь?

Она увидела у него под мышкой смятую дерюгу.

– Я никогда не крала, – сказала она. – Надо вам, своего мало, так сами и идите.

Повернулась и пошла. Не слышала даже, что он там ворчал. Известно что. Недаром он снимает свою шапку, только крестясь перед иконой, а разувается раз в неделю, в субботу. Недаром он построил большое гумно.

В третий раз смилостивился он, когда она родила Антося и после тяжелых родов целую неделю лежала в постели.

– Курицу надо зарезать, – на третий день объявила свекровь.

Мысль эта, рожденная в муках, не очень-то растрогала Даньку. Не действовало и то, что сын, до тех пор такой послушный, умница, тоже настаивал, что курицу зарезать все-таки нужно. Была и курица такая, не несушка, только ходила и квохтала под окнами, черт ее знает отчего, точно сама просилась под нож. Жена и сын не отставали. Невестка, чтоб ей пусто было, лежит, а картошка еще не вся выкопана… Старик заманил курицу в сени, закрылся, словил ее в уголке и взял топор. Приговор был приведен в исполнение на пороге. Данька внес курицу в хату, кинул на пол, сказал:

– Нате. Ешьте.

Было это 16 сентября 1939 года – в последний день панской власти.

Паны сбежали, а Хаменок остался. Данька протянул недолго. Не спал, не разувался всю зиму, даже креститься стал в своей шапке. «Конец… Конец света…» – кряхтел он, лежа на печи. К весне старика наконец обмыли и вынесли из хаты вперед ногами. Назавтра Микола закинул его шапку из сеней на чердак и стал хозяйничать сам. Через год умерла свекровь.

…Гудит трактор. Полная луна стоит высоко над полями. Один будет гудеть всю ночь, другая – светить трактористу до самого утра.

Черноволосая Сонечка тепло дышит носиком в мамино плечо. Давно уснула. Вспомнила слово, которым называли на выгоне почти неизвестного ей отца. Пускай спит покуда, пускай не знает…

Галя встала. Хотела выйти на кухню напиться, но раздумала, подошла к окну. Не открывается оно, и форточки нет. А все-таки здесь слышнее, как за морем колхозной пшеницы, за душистым льном бессонно, неутомимо работает трактор.

– Сережа! – шепчут сухие, горячие Галины губы. – Сережка, зашел бы? Ну, хоть напиться…

Да нет, он не зайдет.

Он заходил в эту хату один только раз.

Это было в начале сорок четвертого года.

Около полуночи разбудил Хаменков стук в окно. Ясно, кто: одни только были в то время хозяева ночей. Открывать пошла Галя. Сам хозяин в таких случаях не вставал с постели.

Следом за Галей вошли двое, остальные стояли с конями на дворе. Галя поправила фитилек в коптилке, а сама отошла в угол. Ее дело сделано, разговаривать будет хозяин сам.

– Добрый вечер! Что, болен? – спросил один из партизан.

– Да вот, товарищи, чтоб ему пусто…

– Сердце?

– Нет, оно… как бы это сказать…

– Язва?

– У меня, товарищи…

– Что ж, душа о родине болит? Лежи, лежи. Я знаю, ты справки хочешь показать.

Партизан включил электрический фонарик, и хозяин замигал на свету.

– Все нормально, – сказал партизан. – Болезнь протекает как положено. Борода отпущена, сапоги спрятаны, самогоночка есть…

Микола понял это по-своему.

– Да где-то капля оставалась, товарищи. Хорошо, что вы напомнили.

– Лежи, лежи, Хаменок, не вставай. Пускай стоит твоя самогонка. Завтра бобики заедут. А с ними, может, и сам герр фельдфебель. А нам твои танцы и песни не нужны. Вахлак!

– Вот вы не верите, товарищи… – начал Микола.

– Да что нам верить, мы видим, – перебил его партизан. – Видим тебя насквозь. У нас, брат, точно записана вся история твоей болезни, и бородатой и безбородой. Ты везде сух из воды выйдешь со своей самогонкой. Народ обливается кровью, а ты… Да что с тобой говорить! Где Каштанка? Подъем!

Хаменок все еще тяжело, с видом больного человека поднялся и сел на постели.

– Галя, дай мне валенки.

Ей не хотелось выходить из угла. Швырнуть бы их, эти нарочно рваные валенки, в эту рыжую, нарочно отпущенную бороду!.. Заплакать бы от обиды и стыда… Но она взяла с печи валенки и понесла их перед собой, чтоб хотя бы таким способом подольше не обнаружить перед людьми, от кого она опять ходит тяжелая…

– Нá, – произнесла она единственное слово, которое смогла вымолвить.

И тогда он, Сережа, сказал:

– Добрый вечер, Галя! И ты от нас прячешься?

Ах, зачем ты, глупая, не крикнула ему тогда: «Забери меня отсюда, родной!» Почему не назвала его именем, которое дороже тебе всех имен на свете, – Сережей? Почему?.. Потому, что и слова и слезы иссякли – от жалости к себе, от стыда.

– Добрый вечер, – сказала она, опустив глаза.

Хорошо еще, что при коптилке было темно, что он не осветил ее фонариком. Видно, хоть немножко еще уважал ее.

Она не пошла за ними на гумно, осталась в сенях, на пороге, в открытых дверях. Кутаясь в незастегнутый кожушок, она слушала, не слушала, а жадно впитывала каждое слово молодых, вольных, счастливых людей.

Вся Хаменкова хитрость оказалась просто смешной. Два дня выгребал он в скирде соломы берлогу, три месяца мучилась в темноте раскормленная кобылка. А тут один из хлопцев постучал, должно быть, по ведру и, точно поп, возгласил:

– Где ты там, грешная душа? Выходи на божий свет!

Каштанка в ответ зафыркала, и фырканье это покрыл веселый смех и говор на току.

Он, Хаменок, все еще ныл:

– С виду она и вправду как будто ничего, а на деле падаль, без ног…

– Хе! Та у нэи дийсно тилькы чотыры нижкы, хлопци! – послышался приятный голос одного из тех шутников, которые мастера бывают петь. Украинец. – Так що, товарышу взводный, – говорил он, – бида моя, а ваш наказ залышыться, мабуть, у сыли. Я конячку сидлаю, так?

– Седлай, Артем, только поскорее, – послышался голос Сережи.

«Он командир. Я так и знала!» – с невольной радостью подумала Галя.

Тем временем тот, которого звали Артемом, снял с небольшого конька седло и надел его на их Каштанку.

– Гэй, здоровэньки булы, ластивко, – сказал он. – А мого Чалого ты, борода, бэры. Тилькы в яму свою не став. Прыиду, то побачу, як ты його годуватымэш. Вин заслуженый кинь. Ну, господы благословы!

Хлопец поставил ногу в стремя, и вот на светлом фоне снега вырисовался над Каштанкой его силуэт. Взнузданная кобылка затанцевала возле гумна.

– Бывай, борода! – послышался еще один голос. – Ты, кстати, пакость свою сбрей. Мы как-нибудь зайдем, проверим. Вообще разочка два в неделю бриться – это полезно.

– Не слушай, дядька, что он за фельдшер. Ты лучше пчел в ней разведи.

– Точно! Медку не будет, а заснуть не дадут.

– За мной! – снова раздался голос Сергея.

Они уехали, а Хаменок продолжал стоять. Оставленный, выбившийся из сил конек, которого он держал за повод, поднял голову, заржал как-то грустно, с надрывом вслед их молодому смеху, цокоту подков по обнаженным камням дороги…

– Не плачь, иди ложись, чего ты… – бубнил Хаменок из-под одеяла. – Ты думаешь, мне ее не жаль. Такая, чтоб им пропасть, кобыла!

– Пошел ты к черту! – сказала Галя и полезла на печь.

Хаменок молчал недолго.

– Ага!.. – послышался в темноте его злобный голос. – Так ты это по нем, по этому висельнику! Ну погоди!..

Он и тогда все еще стращал, уже в конце хозяйничанья чужаков, уже накануне освобождения.

…За окном начинает светать. Большая, полная луна вот-вот побелеет, закончит свое дежурство над полем, передаст его солнцу.

А трактор гудит и гудит…

«Зайди, Сережа, зайди еще раз! Последний разок!»

Галя смотрит вдаль, опершись руками и грудью на подоконник.

А гул будто все приближается. Да, он ближе, с каждой минутой ближе!.. «Приди, приди, дорогой мой, оттуда, куда ты ушел под песню своей гармоники, под цокот подков на дороге, с той светлой стороны, откуда ты так долго не возвращался!..»

Сбылось!

Трактор остановился. Рокот утих.

Галя встала и отошла от окна. Невольным движением она поправила волосы, затем также невольно закрыла руками лицо.

Идет Сергей. Все еще молодой, как и тогда. Только теперь – в синем испачканном комбинезоне, с пшеничным чубом над голубыми веселыми глазами, с кепкой в руке. Вот-вот зашелестит под его сапогами росистая трава, захрустит песок у завалинки, протянется к окну родная рука, постучит тихонько в стекло – и кончится все, что было… «Иди, иди, я жду давно… Ох, как давно!»

Но что это?

Ну, а ты как думала?..

Трактор снова гудит. И гул этот теперь с каждой минутой дальше. Как это все просто, как понятно, что он повернул, и как страшно!.. Сядь и сиди у окна. Хочешь – кричи, а хочешь – молчи,

поглядывай. И еще одно тебе осталось – плачь.

И Галя выбрала последнее. Не выбрала – это пришло само. Припав лицом к подоконнику, она заплакала – горько, навзрыд. Плакала долго, как обиженный ребенок, когда его бросят в такой вот чужой и темной хате. А потом, как ребенок, устала от слез. Тяжелая истома смежила глаза, мягко, властно легла на душу...

Жнея уснула.

А трактор гудит и гудит...

...За садом – пшеница, колхозный хлебный простор. Над колосьями – густая туманная пелена, сквозь которую спокойно смотрит на землю негорячее солнце. Сегодня, в воскресенье, оно словно само отдыхает и хочет дать отдых от зноя всему живому.

Такого моря пшеницы не видели здесь, на месте недавних полос и межей, никогда. Присмотришься – почти не колышется тяжелый, несгибающийся колос, теплый, слегка влажный от тумана, точно вспотел... Хорошо! Над медной щеткой хлебов – серые суетливые воробьи. Так и летают, так и щебечут, так и садятся на колосья, как пчелы на цветы. Только те всегда трудятся, поют свою песню деловито, а воробьи просто беззаботны и счастливы. Легкомысленный народ!

А трактор все еще гудит и гудит...

Кто там сменил гармониста Сергея?..

На дворе у колодца умывается Галин сын – Антось. Натаскал в корыто студеной воды, снял сорочку, и на весь двор слышно, как он фыркает и покряхтывает от удовольствия. Славный малый, живой, работящий. Хорошо, что тянет его к людям, к учебе, к труду. Он уже понимает, что за отца не за что и не на кого обижаться. «Обижайся, старый дурень, на самого себя. Еще и сыну за тебя стыдно». Мать – дело другое. Антось утирается свежим льняным полотенцем. И снова, кажется, на весь двор слышно, как чуть ли не скрипит его загорелое лицо, крепкие руки, заслужившие отдых.

Галя очень любит Сонечку. Галю в детстве никто не снимал. Какие там могли быть снимки! Хорошо, что хоть зеркальце было у Батрачихи. Но Галя глядит на свою Сонечку, как в зеркальце. Такой, верно, именно такой была она сама когда-то: большеглазая, черненькая, щебетунья...

Сонечка стоит на постели в короткой чистенькой рубашонке. Еще сонная, с улыбкой в прищуренных карих глазах, она протягивает Гале тонкие загорелые ручки. Мама надевает на них маленький кремовый лифчик, потом застегивает его, быстро перебирая пальцами белые пуговки. А тонкие теплые ручки девочки уже обвились вокруг

Галиной шеи. Черноволосая головка склонилась на мамино плечо. Ох, и прилегла бы она еще на подушку!.. Но ничего, Сонечка и встанет тоже охотно. Она знает, что сейчас, в жнитво, она должна заменить Антося-пастуха. В саду уже ходит по росистой траве ее подружка – ласковая, спокойная Буренка. В желтом чистеньком жбанке стоит на столе возле кружки парное молоко.

– Ты, мамка, спала со мной?

– С тобой… Так мы же вместе с тобою заснули…

– Сегодня, мамка, воскресенье?

– Воскресенье. Платьице ты наденешь новое, доченька. Вот это.

– А ты, мамка, пойдешь в поле. Жито дожали, так теперь надо овес… И овес, и пшеницу. Антось тоже пойдет.

– Он поспит. Он всю ночь молотил.

– Антось у нас большой. Он у нас, мамка, хороший.

– Хороший, дочка, хороший.

– И я хорошая, мамка. Я тебя слушаюсь.

– И ты хорошая, доченька. Ты лучше всех.

Галя натягивает на девочку такие же, как лифчик, свежевыглаженные трусики, а потом прижимает ее к груди, такую родную, теплую. «Солнышко мое! Почему я не родила тебя от того, кто был мне люб?!»

А за окном слышно, как гудит, рокочет неутомимый работяга трактор… Кто это там сидит за рулем? Кто там сменил Сережу?

– А я вчера думала-думала, думала-думала, – щебечет Сонечка, – и вспомнила: спе-ку-лянт! А что это, мамка? Что?

– Вырастешь еще немножко, дочка, и тогда поймешь, тогда я и расскажу. Ты хорошая, ты больше не будешь спрашивать?

– Не буду.

…Галя идет по росе мимо пшеницы туда – в поле.

«Нет, он не только спекулянт, – мысленно говорит она, как бы все еще продолжая разговор с дочкой. – Он трус, злобный и мелкий, вредный человечек. Он никогда не был твоим отцом, дочушка моя, не был моим мужем. Никогда!»

Она вспоминает его бороду. Кудлатую, рыжую, чуть ли не с «пчелами». Назавтра после того, как забрали Каштанку, он долго скреб эту бороду тупой бритвой, кряхтел, стонал перед облезлым обломком зеркальца, а все ж таки скреб. И каждую неделю брился, до самого прихода нашей армии, еженощно ожидая тех, кто обещал приехать проверить. Они, конечно, не приехали, но и он, конечно, не стал другим. Пошел на фронт. Ну прострелили ему немного руку… Куда он только не совался с этой рукой, чтоб доказать, что он за Советскую

власть! А сам разъезжал за дрожжами и в Столбцы и в Минск…

И вот доездился. Сидит.

Может, нехорошо это, что она его не жалеет? Ведь он же отец ее детей, столько лет прожили… Но нет, не жалеет, ни разу даже не подумала!

А трактор гудит… Скоро рассеется туман, и за пшеницей, за льном откроется черный простор свежей, душистой пашни, станет видно, сколько за ночь поднял земли ее Сережа.

Кто-то идет по дороге.

Боже мой, он…

Гале хочется рвануться, побежать туда, но она останавливается, глядит. Сережа идет без шапки, в синем, раскрытом на груди комбинезоне – такой точно, каким она видела его в окно.

«Нет, он не должен меня видеть!.. Нет, не теперь!..»

Она сошла со стежки в пшеницу.

Сергей идет и не видит над колосьями ее головы в белой косынке, сливающейся с туманом. Да он сюда и не смотрит. А ему вслед глядят Галины карие грустные очи.

«Вернись ты хоть на миг, моя хорошая, моя загубленная молодость! Вернись, спой мне веселую песню про черную галку, которая и сейчас твоя, глянь мне в глаза, и я сама подожгу этот проклятый хутор, возьму детей, пойду за тобой, куда захочешь!..»

А пшеница, какая пшеница кругом! Густая, чистая, высокая… Так и должно быть!

Это еще не мысль, это – только чувство. Мозолистая, ловкая рука жнеи прошлась по колосьям, и нежные прикосновения их разбудили в душе что-то светлое, легкое…

«Иван Степанович! Дядька Иван! Помогите мне, дядька…»

Галины губы шепчут эти давно заученные слова. И дядька Иван, умный, хороший Иван Степанович, тот самый Иван Черногребень, в прошлом подпольщик и гармонист, теперь председатель их колхоза, смотрит на Галю из-под густых, уже с проседью бровей.

«Чего ты хочешь, Галина?»

«Дядька Иван, я не могу там жить, возьмите вы меня назад в нашу деревню. Постройте мне хатку, и мы с Антосем отработаем, за все отработаем! Снимите с меня его имя, дядька Иван. Ведь вы и сами все знаете: кто он, кто я и кто мои дети…»

«Не плачь, Галина, не надо. Уладим».

А Галя плачет. Идет по дороге и плачет. Сквозь туман и сквозь слезы, заслонившие от нее этот еще не стертый с лица земли хутор, она видит протянутые к ней тонкие загорелые ручки; они тепло

ложатся ей на шею, и у самого уха слышится:

«Ты хорошая, мамка моя!»

«Нет, это ты хорошая, ты, мое солнышко, ты лучше всех! И доля у тебя будет не такая, как у мамы. Никто не надругается над твоей жизнью…»

А трактор гудит и гудит…

Там не Сережка. Но это ничего. Ночью будет опять он. Опять будет болеть по нем ее душа, до самого рассвета…

Пускай! Только бы гудел.

Осколочек радуги

Дед бил, бил – не разбил, баба била, била – не разбила…»

Юрку не бил никто. Все его упрашивали. Сестренки наперебой показывали, как это делается. Мама сердилась, что он ее – даже ее! – не слушает. Просил сам отец. Стыдил своего Юрася, говорил с ним, как мужчина с мужчиной. Просила, наконец, гостья-бабушка, – неутомимая сельская труженица, незаметно, как бы между прочим, вырастившая семерых детей и девятнадцать внуков. Двадцатому внуку она говорила:

– Ну сделай уж, сделай, коток! Покажи ты нам это диво, а то уеду завтра домой и не увижу. Ну, вот так!..

Хлопая в такт сухими, трясущимися руками, она затягивала слабым, старческим голосом бессмертную песню, которая радовала и еще будет радовать многие миллионы сестренок и братьев, мам и пап, бабушек и дедушек:

Ладкі-ладушкі,
Прыляцелі птушкі!!.

И дальше. Или – опять сначала. И так и так хорошо. Только бы песне помогали маленькие ладошки с растопыренными пальцами, только бы рот до ушей растянулся в улыбке, а глазенки смеялись!

Учиться Юрка не хочет.

Он стоит в своей кроватке (с одной стороны ковер, с другой – сетка), держится руками за железный прут и то смеется однозубым ротиком, то, совсем как папа, щелкает языком – этому он уже хорошо научился.

– Вот противный! Мы тебя больше на руках носить не будем – ни Аня, ни я…

– Дурень! – сердится мама.

И это всех смешит, даже самого Юрку. Он заливисто смеется, щелкает языком еще раз, а потом надувает губы и, сверху вниз водя по ним кулачком, очень довольный, делает «бр-р-р».

– Не ново, не ново, – улыбается отец. – Расширяй, брат, репертуар.

И бабушка, разумеется, тоже говорит свое слово: становится на защиту внука, как будто бы и в самом деле кто-нибудь на него нападает.

«...Баба била, била – не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула...»

Махнула хвостиком не мышка, а рыбка. Золотая рыбка с причудливым именем – шубункин.

Она плавала в аквариуме, стоявшем в другой комнате на окне. Плавала не одна – их было пять, и все золотые, и каждая зовется шубункин.

В аквариуме четыре стеклянные стенки и песчаное дно, двадцать литров чистой воды и, должно быть, несколько тысяч камешков – больших, поменьше и совсем-совсем маленьких, которые считаются песчинками.

Камешки – из Крыма, где роскошное солнце и стройные вечнозеленые кипарисы, где теплое море шумит день и ночь, ласково напевает, полощет без устали каменистый берег, выкатывает на отмели из прохладных морских глубин такие вот, как в аквариуме, камешки.

Они разноцветные, блестящие, прозрачные, у них тоже причудливые имена: халцедон, сердолик, нефрит...

Вместе с камешками песчаное дно аквариума устилают маленькие и большие ракушки, окаменелые когти когда-то грозных крабьих клешней, отшлифованные волнами, как бусы, кусочки стекла.

Кроме крымских, есть в аквариуме камешки и ракушки из гористой солнечной Югославии, где трудолюбивые, мужественные люди и в сказке, и в песне море свое называют нежным и звонким именем – Ядран. Над этим темно-голубым морем всё – и ясное солнце, и белые чайки, и зеленые кедры, – всё так красиво, что, кажется, захватил бы всего понемножку с собой на светлую память.

Отец, который привез из Москвы, из зоологического магазина, золотых китайских рыбок шубункин, из Крыма – камешки и ракушки, и там, над голубым Ядраном, думал о самой светлой радости. Дочкам, ожидавшим его, и Юрасю, рождения которого он сам ожидал с небывалой тревогой, отец привез от всей адриатической красы

зеленую шишку с могучего кедра, что шумит над волнами на Черногорской круче, белое перо, лежавшее на сером холме маленького каменного островка, несколько ярких и прозрачных камешков, поблескивавших на горячих пуховых пляжах песенной Далмации.

«...Мышка бежала, хвостиком махнула – яичко упало и разбилось...»

Золотая рыбка шубункин махнула своим прозрачным, роскошным, как шлейф королевы, хвостом – и чудо свершилось: впервые после долгой зимы со двора в аквариум заглянуло солнце. Заглянуло краешком глаза, а все же в воде за стеклом заиграла радуга...

Юрка, которого перестали наконец обучать, которого выпустили наконец из-за сетки на волю, быстро пополз, забавно перебирая по ковру коленками.

Ползти для Юрки – это значит не лежать, не сидеть, не стоять, держась за спинку кровати, а самому двигаться, самому овладевать пространством. Никто из нас не помнит этого чувства, а оно, должно быть, очень приятное!.. Черноглазый, светловолосый Юрась даже ползти сразу много не может: поползет немножко, сядет и оглянется. Как тут ново все, как красиво! А ну дальше!..

И вот махнула золотая рыбка хвостиком, заглянуло в аквариум солнце, в воде за стеклом заиграла радуга. А мальчик полз. Да не полз! Он бежал, как кот, легко топая ладошками и коленками по пушистому и, как цветущий луг, огромному для него ковру. А потом остановился, сел и оглянулся вокруг.

В черных, как переспелые вишни, глазах отразилась игра золота на рыбьей чешуе, вода, в которой ласково переливались черноморские и ядранские камешки, кристально чистая вода белорусских криниц с осколочком яркой радуги – улыбкой солнца, одного для всех!..

Сказка кончается. Ничего не упало, ничего не разбилось...

Только маленький кудрявый Юрка раскрыл от удивления свой однозубый ротик, развел руками, и две ладошки с розовыми растопыренными пальчиками сами наконец захлопали!

Сказке конец. И дед не плачет, и баба не плачет...

Все стоят в дверях. Потом девочки и мама бегут к Юрке. Сестренки хохочут, а мама хватает на руки того, кого только что и так несправедливо, и неуместно, и, в конце концов, даже не сердясь, обозвала дурнем. Хватает и целует его – еще за одно достижение. Подходит папа, а за ним, волоча больные ноги в валенках, идет к Юрке бабушка. Идет и так улыбается, что на ее морщинистом лице

совершенно ясно написано:

«Ну, вот и двадцатый становится человеком!»

Тоска

Андрею

1

По правде говоря, и здесь порой неплохо.

Прежде всего здесь очень много воды, и она называется море. Глядишь с самого берега, сидя на песке, глядишь с высокого обрыва, с тропинки в жесткой траве, – а оно без конца всё море да море!..

Песок горячий, и мама расстилает для Юрки широкое мохнатое полотенце. Жарко очень и сверху, потому что солнце тут печет весь день. Папа разыскал четыре палки, принес их сюда, втыкает в песок и сверху натягивает простыню, которая тогда называется «тент».

Сперва Юрка боялся моря и не лез в воду. Он то лежал под тентом, то подходил к самому берегу и швырял в море камешки. Их тут тоже очень много. И они называются «галька». В то, другое лето, когда Юрка с мамой и папой жили в лесу над речкой, камешков было куда меньше. А тут – кидай, кидай, даже рука заболит!.. Вот так-то – то под тентом лежи, то гальку кидай. И сегодня, и вчера, и уже давно-давно!.. И папа смеется:

– Эх ты, курица! Третий день на курорте, а все сидишь на берегу.

Но вот папа взял Юрку на руки, занес в море и, сколько мальчик ни противился, поставил его в воду по самую грудь. Юрка сначала кричал, потом дрожал, потом стал смеяться, а вода как плюнет на него – и в рот, и в глаза, и на волосы!.. Да какая соленая, страшная!..

Ну, это было раньше, когда Юрка боялся моря. А теперь уже мама боится, чтоб он не забирался слишком далеко. И одному Юрке купаться не позволяет: и когда тихо, и когда на берег с шумом катится вода, которая тогда называется «волна».

– Сегодня, сынок, большая волна, ты купаться не будешь. Ты ведь хороший и не станешь просить.

Правда, хорошим здесь быть очень скучно, но ведь и с мамой надо дружить. Папе хорошо – он купается и тогда, когда волна шумит вовсю и хлещет о берег, и даже тогда, когда мама и его – такого большого – просит, чтоб не купался.

В тот день Юрка придумал очень веселую игру. Он брал свое голубое ведерко с нарисованным на боку большим желтым яблоком и

шел к самому берегу. Берега, впрочем, теперь не было. Волна за волной так шумно и сердито накатывались на гальку и песок, что берег был то совсем близко, то совсем далеко... Волна откатится, и только пена, как от мыла, впитывается в гальку и песок. А ты бежишь следом за берегом, чтоб зачерпнуть воды. И только наклонишься – волна снова как плеснет, и берег твой побежал, побежал, а ты уже стоишь в воде. И ты тоже тогда из воды удирай, а то и другая волна – как плеснет!.. Мама все еще боится, она кричит что-то, хотя ничего не слышно, видно только, как рот ее раскрывается. Зато папа не кричит. Он даже так сел и так повернулся боком, что тебя будто и не видит... В этом именно и заключается интерес игры. Юрка подкрадывается к папе с ведерком воды и вдруг на спину как плюхнет! Папа даже подскочит и закричит. До чего же это приятно Юрке, и как тут нахохочешься! И можно это делать опять и опять, потому что папа каждый раз будет так сидеть, будто бы ничего не видит...

Вот и все, что есть веселого. Правда, было однажды очень весело в кино. Когда Юрку в первый раз взяли туда, он сначала смотрел, потом дремал, а потом и вовсе уснул у папы на коленях. И мама сказала, что лучше уж она сама не пойдет в кино, но не будет больше мучить ребенка. Однако и назавтра пошла, потому что картина, говорили, очень уж интересная!

Кино тут не такое, как у них в Минске, а прямо на дворе. Тетя впускает туда через калитку. И за калиткой скамейки стоят, вокруг высокий забор, а потолка нету. На стене растянута простыня, которая и здесь тоже называется «экран». Где левая рука – там забор и деревья, а где правая рука – там забор и за ним, под обрывом, море. Оно так далеко внизу, что отсюда даже не слышно, как шумит. Пока не начнется кино, слышно, как вокруг трещат кузнечики, которые здесь называются «цикады». А уж когда застучит движок, когда на экране покажутся люди и заиграет музыка, тогда слышно только кино. Но оно совсем невеселое, потому что это не Буратино и не Белоснежка, а все только для взрослых. Что-то говорят, говорят... И скучно.

Но вот раз на экране показалась собака. Большая-большая! И черная! И она как залает!.. А тут за забором, с той стороны, где под обрывом море, – тоже кто-то как залает!.. Уже не с экрана, а какая-то живая собака, которая, видно, сидела раньше тихонько да смотрела кино. И все дяди и тети засмеялись. И Юрка так смеялся и так ему хотелось об этом поговорить, что мама даже рассердилась...

И Юрку теперь не берут в кино. Укладывают спать. И он когда сразу уснет, а когда лежит и думает.

Сегодня, например, думает.

2

В словаре трехлетнего человека слово «тоска» покуда не значилось. Однако в душу его – хотя не названная еще и не осознанная – она уже наведывалась.

Чувство это, лучше сказать – целый комплекс образов и связанных с ними чувств, возникло после лая – того, что прозвучал на экране и в ответ ему – с земли.

Здоровенный черный пес на экране и тот другой, еще неведомый, за забором, лаем своим напомнили Юрке далекого доброго друга, расставшись с которым мальчик сперва долго ехал на машине, а потом летел высоко-высоко на самолете…

Юрка забрался вон в какую даль, сюда, где море, а Шарик остался там, в тетиной деревне, на цепи.

Тети Верина собака очень добрая, но неказистая и даже смешная на вид, пестрая: половина головы белая, половина черная наискосок, будто ей подвязали тряпочкой подбитый глаз. И все повиливает хвостом от смущения. И совсем не кругленькая, хотя и зовется Шарик.

Может, если б Юрка боялся его, как он сначала боялся моря, так они б и не подружились. Но Юрка не очень боялся. Он был смелым еще и в то, другое лето, когда они жили в лесу над речкой и когда там было много-много индюков, а он однажды зашел к ним в загородку и стал кричать, как паровоз, для того чтоб они голготали… И Шарика он не испугался, а назавтра, после того как приехал к тете, сам подошел к песику и погладил. Шарик лежал в будке, положив пятнистую голову на порожек, и молча поглядывал на двор, где был как раз полный порядок. Когда маленький человек, который спал и ел сегодня у них в хате, провел ручонкой по его башке, пес зажмурил глаза и тихо зашуршал хвостом по соломе.

А был он, Шарик, не из тихих. Лаял много и очень охотно, то сердито, то весело. Лаял он даже на желтого кота Базыля, стоило тому попасться ему на глаза. Хотя Базыль и сам был не лодырь какой-нибудь, а серьезный работник, уже старый и уважаемый в доме, может быть, больше Шарика, потому что он здорово ловит мышей и вот уже одиннадцать лет мурлычет сказки тетиной Ире, с которой они, как говорит тетя Вера, и родились-то в одну зиму. Так что Базыль не очень боялся Шарикова лая, хотя, само собой, близко к будке не подходил. Всего сильнее и громче лаял Шарик, когда Ира

выпускала из хлева свинью и поросят, чтобы вдвоем с Юркой гнать их на выгон.

А надо сказать, что тети Верина Ирочка очень веселая и Юрка любит ее. Она и играет с ним, и свиней они вместе пасут, и сказки ему вечерами рассказывает. У Ирочки болел глаз, и теперь она носит очки, как старая бабушка. И все бегает, шмыгает взад-вперед и смеется. А сама маленькая, худая. Так Юркин папа придумал, что она – мышь на пенсии.

– Ты, мышь на пенсии, что ты все молчишь да хихикаешь? Ну скажи: «ма-ма», «па-па», «ко-ры-то»... А, ты не умеешь говорить! Смеешься только: «хи» да «хи».

В ответ Ирочка не только повторяла свое «хи», но заливалась таким тихим и таким заразительным смехом, что ты, глядя на нее, и сам засмеешься.

Ирочка тихая только с большими. А так она здорово ездила верхом на свинье. Разбежится, подпрыгнет, крикнет «гоп», перевесится животом, перекинет ногу и сядет. «А ну, кричит, садись, Юрка, на прицеп!..» Огромная белая свинья, та, которая мама пяти поросят и называется Каруля, трясет ушами, хрюкает, бежит – за калитку, на улицу. За ней следом – поросята и Юрка.

А Шарик прямо цепь чуть не вырвет – так кидается и лает им вдогонку.

Милый, хороший песик. И лапа у тебя, верно, еще не зажила...

Заболели Шарик с Юркой в один день. Но Юрка выздоровел первый. Когда тетя Вера сказала, что сегодня уже можно идти гулять, он взял из шкафчика в кухне ломоть хлеба и побежал к будке. Потому что кто-то нехороший не то палкой, не то камнем перебил их Шарику переднюю правую лапу. И Шарик уже не лаял, как раньше, а только скулил, глядя на гостя, и тихо, медленно мел хвостом по соломе. А Юрка не стал его теребить обеими руками за уши, не обнимал, не тискал за шею, а тихонько залез в будку и лег рядом. И лапы больной не трогал, даже погладить ее боялся.

– Ешь хлеб, – говорил он. – Ешь. Он вкусный.

И пес, хотя и не голодный, взял в зубы ломтик и не с жадностью, как обычно, а просто как бы из вежливости стал жевать...

Так же, как лай за забором напомнил Юрке Шарика, ломтик хлеба напомнил другое.

Старая Шутка, тети Верина овечка, с кривым, смешно изогнутым рогом...

Надо также сказать, что у тети Веры все работали. Тетя и дома управлялась, и в поле ходила каждый день. Ира и свиней пасла, и

двор подметала, и мыла пол, и Юрку кормила, когда они вдвоем оставались дома. Шарик лаял и днем и ночью, сторожа хату и сад. А кот Базыль ловил мышей и только изредка полеживал на «кошачьей горе». Так тетя Вера называла их большую, всегда теплую печь. Работал и Юрка. С тетей Верой он отправлялся иногда «в колхоз» – лен полоть, сушить сено. Туда они ездили с другими тетями на грузовой машине. С Ирой он пас свиней. Но главной Юркиной обязанностью было загонять вечером овец.

Когда они, овечки со всей деревни, поднимая пыль, возвращались с пастбища, надо было успеть отворить калитку, выбежать на улицу, отделить от стада своих овец и загнать их во двор. Это было совсем нетрудно. Шутка шла домой сама, ведя за собой семью: барана Шмерку, овечку Дусю и маленьких, еще безымянных, ягнят. Кроме того, что она была овечья мама и сама узнавала свой двор, старая Шутка знала еще, что Юрка встретит ее не с пустыми руками. Словно заговорщики, почти каждый вечер они заходили за угол хаты, он доставал из кармана ломтик хлеба, крепко держа, протягивал его овечке, а та откусывала и тихо, старательно жевала, потешно шевеля черной ноздрястой и щекочущей, если дотронуться, мордочкой!..

У Шутки мордочка маленькая, а вот у Кветки, тети Вериной коровы, – большая влажная морда...

Мы забыли сказать еще об одной Юркиной с тетей работе: они каждый вечер вместе доили корову. Пока тетя Вера, присев на скамеечку, доила свою бокастую, с большим выменем Кветку, пока молоко журчало, наполняя подойник, Юрка стоял перед коровой и то правой, то левой рукой гладил ее морду. А Кветка то жевала свою жвачку, то бросала жевать и вздыхала, и тогда из больших ноздрей ее на маленькую Юркину руку дышала широкая ласковая струя теплого воздуха. Рука невольно вздрагивала, и мальчик тихонько, благодарно смеялся.

Милая, добрая Кветка!..

Кот Базыль был неприхотлив, он ел что попало, не перебирая, хлеб так хлеб, картошка так картошка... Однако и он любил побаловать свою старость теплым Кветкиным молоком, тем, что называется парное. Базыль лакал его из своего черепка под лавкой, а Юрка и Ирочка сидели за столом. И парное молоко с хлебом было такое вкусное! Они его пили из налитых доверху стаканов, и над губой то у одного, то у другого делались белые усы. И это было так смешно! Над тети Вериным столом горела в большом белом шаре электрическая лампочка. Окно было открыто, и на широком белом

подоконнике маленький репродуктор так весело играл, что даже подпрыгивал от радости. Даже листья за окном, на яблоне, шевелились!.. А тетя Вера говорила:

– Ну, я еще подолью. Сколько ты там съел – меньше кота.

И Юрка ел «больше всех» – полный стакан, и еще почти полный стакан, и целый ломоть хлеба, как Шутка!..

А потом они с Ирой ложились спать. Брали с собой Базыля, и он мурлыкал им сказку – одну и ту же, но все равно такую славную, теплую, сонную... Но им сначала не спалось, и они делали себе «спрятанный домик» – накрывались с головой и шептались под простыней или хихикали, пока тетя Вера не скажет:

– Ну, спать, хохотуны. А то люди всю ночь разберут. Слышите, как тихо везде?..

И правда, было тихо. Только слышно, как в третьей от них хате (а Юрка знает: это у Лосева Ваньки) все еще говорит радио. Или вот весной, когда Юрка только приехал, лягушки квакали на болоте за тети Вариными грядками капусты. Иногда загудит в деревне или на дороге машина. И так и хочется крикнуть, что это – дяди Алешина, того самого, с которым Юрка ездил на сенокос!.. Иногда из клуба на другом конце деревни долго доносится песня и музыка. А то шумит в поле трактор, близко или где-нибудь вдали. И кузнечики все стрекочут. Да иногда Шарик гавкнет на кого-нибудь, или на что-нибудь, или просто так, тихонько бегая вокруг хаты...

Милый сон незаметно вползал в их с Ирочкой «спрятанный домик»...

«А лапка его, верно, уже не болит», – думает Юрка, один в далекой-далекой комнате. Там, у моря, куда надо высоко-высоко лететь на самолете.

Но наконец он засыпает.

3

И сон приходит с веселыми, полными счастья картинами.

...Вот они едут в тети Верину деревню. Папа сидит за рулем, рядом с ним – мама, на коленях у мамы – Юрка. И он все смотрит и смотрит в окно. Но уже смеркается, и папа включил фары. Как это хорошо! Сперва мелькают колосья по обе стороны узкой дороги, потом начинается плотина и выгон, где сейчас никого уже нет: ни детей, ни свиней, ни гусей... А потом с мостика белое что-то как шмыгнет! – и побежало, побежало к гумнам...

«А-а, твой Базыль», – говорит папа.

И Юрка кричит:

«Это он встречал меня! Встречал!..»

И вот они повернули наконец на улицу, вот уже тетина хата, и калитка, и яблони. Вот уже Юрка бежит туда – один, без машины, и папы, и мамы, – бежит и видит, что тетя Вера идет навстречу и смеется, что Ирочка бежит вприпрыжку и тоже смеется… Это он, это Базыль им сказал!..

«Я приехал! Я опять приехал к вам!» – кричит Юрка. И он смеется и плачет от радости…

Папа и мама все еще не пришли из кино. Никто не видел, как Юрка проснулся, счастливый, в слезах. Но и сам он еще не вернулся в свою белую, пустую комнату с цикадами за открытым окном, – он только почмокал губами, свернулся калачиком и опять улетел в край душистых ромашек, сосновых бревенчатых стен да бесконечной теплой, босиком избеганной травы…

В тети Верином хлеву живут себе корова Кветка, Шутка с семьей и свинья Каруля с поросятами.

Думаете, что это и все?

А вторая половина хлева называется «сарай». В нем лежит сено и солома. Там, под крышей, ласточкины гнезда. Птенчики все пищат, а их папы и мамы носят им мошек. А иногда там, где-нибудь в уголке, снесется курица. Ну, и тогда уж она на весь мир кудахчет.

И все?

Ого!.. Юрка тоже думал сначала, что все.

А тут как раз из-под тети Вериного сарая на траву вышла ежикова мама, а за ней три маленьких ежонка. По большущему для них, по настоящему ромашковому лесу они – один за другим, а мама впереди – пробираются к желтому кувшинному черепку, в котором молоко. И молоко такое вкусное, такое парное, что у Юрки прямо язык зачесался. Сейчас вот, сейчас будут лакать!

А Юрка будет смотреть.

«Ну, ну, скорей! Скорей!» – наклоняется он над ними, подойдя ближе.

И ежиха сворачивается в клубок. А вслед за ней сворачиваются клубочком и малыши.

«Ну что ж, я подожду», – думает Юрка и укладывается в теплых от солнца, душистых ромашках.

Подпер щеки загорелыми кулачками и молчит, ждет.

Как это хорошо, что Шарик дремлет в будке и ничего не видит! А то поднял бы лай и напугал бы ежиков. Хорошо, что и Базыля тут нет, а то он вылакал бы молоко. Хорошо, что никого здесь пока нет,

что так тихо, светло. Они вот-вот развернутся. Ежикова мама чуть раскроет свой очень колючий клубок, глянет сквозь щелочку и увидит, что это всего лишь мальчик Юрка лежит. А ведь он только хочет посмотреть…

«Идите, идите, – думает Юрка, – не бойтесь, тут же никого нет…»

Но вдруг раздается Ирочкин голос:

«Юрка-а! Иди, свиней погоним! Юрочка-а!..»

Он хочет отмахнуться от нее, но что-то сильное-сильное, теплое-теплое обнимает его – и никак не махнешь. Он хочет крикнуть: «Ну тебя, гони одна!» Он делает усилие, и крик вылетает из его горла, но уже не там…

Это мама обнимает его, говорит:

– Юрка, Юрочка, вставай! Ты что это сегодня так заспался?

А он кричит:

– Сама гони своих свиней! Сама!

– Сама погонит, – смеется мама. – Ишь, разошелся…

И Юрка просыпается окончательно.

– Надо завтракать идти, сынок. Все уже давно пошли. А мы с тобой опаздываем.

Умытого, одетого, но все еще хмурого Юрку за ручку ведут в столовую. Там с него беспеременно снимают тюбетейку, усаживают за стол и начинают кормить.

Тетя Полина Ивановна, которая называется «сестра-хозяйка», сперва то идет, то останавливается у других столов, а потом подходит к ним.

– Доброе утро, – говорит она. – Ну, а отчего это мы такие грустненькие? Как мы спали?.. В этом заезде, видите ли, почти нет детей. Вот только ваш да профессора Маркова Александра Павловича, Вова. Но Вовочка, видите ли, заболел ангинкой и пока на постельном режиме. А так бы они играли вместе. Вовочка тоже, как Юрка, очень приличный мальчик…

Тетя сестра-хозяйка и сама очень приличная. В чистеньком, хрустящем халате, полная, ходит – точно плывет, и говорит так ласково, так ровно.

И все тут такое приличное: пальмы в кадках, столы под белоснежными крахмальными скатертями, дяди и тети, которые здороваются по пять раз на день. И мама не кричит на Юрку, как дома, а только все шепчет потихоньку, прилично:

– Ешь! Боже мой, да ешь ты!..

И вот в то утро все там, конечно, очень удивились, когда такой милый и тихий мальчик, сидевший с мамой и папой, вдруг закричал

на всю столовую:

– Я тут ждохну у вас! Я хочу к тете Вере!..

Звезда на пряжке

Двор окружен тремя высоченными домами. Для взрослых они – просто пятиэтажные. А попробуйте посмотреть на них снизу, от самой-самой земли!..

Взрослым открыта дорога и в тот подъезд, через который выходят на одну улицу, и в те ворота, через которые въезжают сюда с другой улицы машины. А ребятам – ну, тем ребятам, которые гуляют уже без бабушки или мамы, – на улицу со двора выходить не разрешается.

Правда, и тут, на дворе, много интересного. И гаражи, и деревья, и куча песка у забора, и две собаки: Лайка из красного дома и Шарик – того Алеши, который старший брат Гарика и называется Второгодник.

Но что станешь делать, если уже не лето, и уже не осень, и еще не зима. И песком уже не поиграешь, и листьев, даже желтых, на деревьях нет, и снег никак не пойдет.

А самое плохое… Нет, самое хорошее! Словом – это музыка, что доносится оттуда, где за высоченными стенами домов площадь и памятник, а на площади стоят или ходят солдаты. Это – военный оркестр, и он готовится к Октябрьскому параду.

Хорошо тому, кого уже пускают одного на улицу и на площадь! Он там увидит не только солдат в серых шинелях и серых ушанках, не только их блестящие, голосистые трубы. Когда над площадью грянет веселый марш, с деревьев в сквере игриво посыплется первый иней, а седой дедушка, который, кажется, еле плетется по тротуару, и тот станет постукивать палочкой в такт.

Хорошо тому, кто уже вырос!

Вообще считать себя большим каждому приятно. Даже мальчик из красного дома – в черной шубке, из которой заметно выросли его тонкие ноги в синих облегающих штанишках, и руки всегда без рукавиц, – даже он считает себя большим. Так и говорит частенько: «Когда я был еще маленький…» А самому не так давно пятый год пошел.

Особенно взрослым он себя чувствует рядом с трехлетним пузырем в теплом пальто и с румяными щечками, что так и выпирают из цигейковой шапки, когда она завязана под подбородком.

Это друзья. Они всегда вместе.

Тот дядя Толя, который Светланин папа и живет в одном

подъезде с Шариком, когда идет домой или на улицу, всегда останавливается возле них и говорит меньшему:

– Здорово, Саша!

– Я не Сяся.

– А кто же ты?

– Я Мися.

А старший, не дожидаясь вопроса, добавляет:

– Он Миша, а я, дядя, Юрка.

– Ну? – удивляется дядя Толя. – Хорошие вы ребята, если объективно говорить. И оба.

Еще и руку пожмет тому и другому. А у самого рука большая, сильная, теплая!..

Во дворе из трех домов собирается, понятно, много мальчиков и девочек. Но сегодня и Юрка и Миша вышли почему-то раньше всех.

По праву старшего игру и сегодня придумал Юрка.

– Ты будешь крокодил, – сказал он Мишке. – Ты станешь на руки и на ноги и делай ртом так: хап! хап! гырр!.. А я буду циклоп, как в кино, и я буду на тебя нападать…

Мишка согласился. Но, став на четвереньки, вдруг решил, что он не крокодил, а лошадь… Даже заржал тоненько – вот чудак!

Слово за слово – и дошло до ссоры. А потом Юрка толкнул Мишку, тот упал на живот и заплакал, а сам «большой» испугался – и наутек! Но зацепился за что-то и шлепнулся, не добежав до крыльца. Руки еще ничего, поболят и перестанут, а вот колени – ох!.. Не только ушиб, но – мокрые… И что скажет мама, когда и вчера она сушила его штаны на радиаторе, и позавчера, да как сердилась… И Юрка тоже заплакал.

Там, за домами, гремят веселые трубы, а два чудака ревут дуэтом – один стоя, а другой все еще на животе.

Но тут на крыльце появился какой-то незнакомый дядя.

– А это что за эпопея, а? – спросил он громко и грозно.

Ребята замолчали и уставились нашего.

Мишка даже встал.

Они еще не знали, что это дядька Лапша, водопроводчик, который работает в котельной на соседнем дворе. Заигравшись, они не заметили, как он прошел по двору, спустился в котельную их дома и снова вышел на крыльцо. И они не могли понять, откуда он такой взялся – сердитый и чужой!..

А для дядьки Лапши все было сейчас понятно и просто. Он только что выпил. А малость недобрав, запер свою «фабрику» на засов и пришел сюда, к дружку и коллеге, водопроводчику Кипеню.

Побеседовать думалось или, может, еще что-нибудь… А тут и у Кипеня «фабрика» на замке. Только насосы шумят за дверью. Сорвалось. А назад спешить нечего: может, скоро подойдет?..

Дядя этот только сперва испугал мальчиков. А потом оказалось, что он очень добрый. И руки им отряхнул, и слезы Мишке вытер большим пальцем, и говорит:

– У вас, братки, без пол-литра не разберешься, кто виноват, кто прав. Ну, ты не плачь… Какой же из тебя после этого может быть крокодил? А музыка, братцы, какая! Слышите? О! – Он даже запел, взмахивая рукой:

Вьется, вьется знамя полковое,
Командиры впереди.
Солдаты, в путь!..

Хор-рошая музыка, хлопцы! У нас на партизанском параде, – сказал он, усаживаясь на асфальт у стены, – марш играли, правда, не этот. Трам-та-ра-ра, трам-та-рам!.. Такая, братики мои, эпопея!.. Вот вы подрались, засопливились – и все. А у нас, бывало, не дай и не приведи! Знаете вы, ты и ты, что такое блокада?

Юрка и Мишка стояли рядом, смотрели на дядю как зачарованные. И молчали.

– Да откуда вам, браточки, знать про блокаду!.. А мы лежим себе ранней весной… В сорок третьем. Болото, лес. Холод, голод. Вокруг немцы. Денег – ни копейки… Тьфу!

Он помолчал.

– Там еще ничего, – снова заговорил он. – Оттуда мы вырвались. Не все, правда… Но мне тот раз повезло. Зато в другой раз жигануло вот сюда. Так вот лежал я…

Дядька прилег на сухом у стены асфальте и показал:

– Лежу. А потом только хотел рвануться вперебежку, только, извините, казенную часть поднял, а пуля – джик! А вторая – в руку! А третья – вот сюда, в грудь. Решето! Эпопея!.. Вот, братики, что такое фашисты и что такое война!..

Дядька как лег, так и остался лежать под стеной. Только на бок повернулся. И голову рукой подпер.

– А теперь, – сказал он, – музыка тебе играет, кровь молодая кипит, и хоть бы хны… Три раза правительством отмеченный. А сам никуда не гожусь… Вздремнуть, что ли, покуда Кипень придет?.. Ну, молодые люди, прошу минут пятнадцать тишины.

Дядька закрыл глаза.

Мальчики постояли немножко, а потом Юрка, совсем-совсем забыв про ссору, взял Мишку за руку, отвел к забору и зашептал малышу в самую щечку:

– Ты тут стой и смотри… на вот эту палку! И стой да смотри. Я скоро вернусь…

А сам побежал в тот подъезд, что вел на улицу.

…Тетя Зоя Петровна, та, что Юркина мама. Не наказывайте вы на этот раз своего мальчика за то, что он забыл все запреты и обещания и один вышел на улицу!.. Придется, конечно, его отчитать, потому что на пути к его цели – два оживленных перекрестка и множество машин. Но за смелость, за чуткое сердце…

Юрка идет на площадь, на голос солдатских труб.

Он счастливо пересек первый перекресток и двинулся ко второму. Взрослые говорят, что пути здесь – всего один квартал. А сколько же тут интересного! И магазин, где продаются книжки, кубики, цветные карандаши. И детское кино, где он смотрел вчера с Анькой про циклопа и крокодила. И сквер с фонтаном, где весной зеленые каменные лягушки опять будут брызгать изо рта водой. А вон там, на углу, летом тетя продает мороженое. И скоро будет второй перекресток, а за ним – солдаты.

Но тут…

Ох, не все в жизни сбывается!..

На тротуаре перед Юркой стоял Светланин папа, дядя Толя.

– А ты, браток, куда? – спросил он. – Куда это ты один?

– Там… фашисты дядю обидели… Дядя хороший, а они его пулями прострелями! И он лежит…

– Где лежит? Что ты выдумал?

– Я не выдумал. Он партизан. Он прогонял их, а они…

– Э, братец, ничего мы тут с тобой… Пошли на место преступления. Веди!

Юрка согласился. Когда его ручонка, озябшая без рукавицы, оказалась в сильной, теплой руке дяди Толи, он окончательно поверил, что справедливость скоро восторжествует. И без солдат. Потому что дядя Толя сам большой!..

Однако во дворе их ждало полное разочарование.

Дядьки этого уже не было.

И Мишка уже не стоял у забора, а шел по дорожке. Даже без палки.

– Ну? – спросил дядя Толя, отпуская Юркину руку. – Как ты мне, братец, все это объяснишь? Где твой дядька и где фашисты?

Юрка стоял растерянный.

А Мишка смотрит и улыбается.

– Что, румяный? – спросил у него дядя Толя. – Как же это ты, брат солдат, на страже стоял? Ты куда дел того дядю?

И Мишка рассказал:

– Плисол длугой дядя… дядя из котельни и заблал дядю… Дяди посли туда!

Он показал рукавицей на дверь в подвал.

– Все ясно, – сказал дядя Толя. – У Кипеня гость. А ты тут, Юрка, тревогу поднял.

Но Юрка уже опять осмелел:

– А фашисты ведь дядю обидели!

– Да это, братец, было уже давно. И, надо думать, больше не повторится.

– А дядя тот хороший. Он партизан! И он герой!

– Ну, так уж и герой?

– У него, дядя Толя, звезда на пряжке! Вот тут. Большая! И Мишка, дядя Толя, видел!

Дядя Толя достал из кармана пальто коробку папирос и спички.

Как хорошо быть большим!..

Пока он вынимал из коробки папироску, а потом чиркал спичкой, раскуривал, затягивался, – за стенами дома, далеко на площади, веселым маршем гремели трубы, а здесь за движениями его рук следили две пары глазенок. Любопытных, доверчивых, восхищенных!..

– Ну, орлы, – сказал дядя Толя, – как бы там ни было, а вы, говоря объективно, тоже герои. Защищать обиженных – это по-нашему. Ну, играйте. Даже выходит – под музыку. О, слышите? Привет!

А он, дядя Толя, ушел и не знает, что Юрка и Миша с утра немножко подрались…

Ну и пускай никто не знает.

– Я больше не буду, Мишка, циклопом, – сказал старший. – И ты не будешь крокодилом. Дай мне ручку, и мы с тобой пойдем к сараю – я тебе там что-то покажу…

В глухую полночь

За двадцать послевоенных лет мне этот хутор случалось видеть и весной, и летом, и осенью…

Весной – когда робкой зеленью травы подернутся давно не паханные пригорки, пестрые от хмурых валунов и редких кустиков можжевельника; когда в лощине перед старой хатой зацветут вишни,

а клочок земли распахнет свою серую свежесть под несколько гряд и полосу картошки.

Летом – когда почти у дороги, по которой я иду или еду, ручьем журчит извилистая речушка, а в ней мужественно борется с течением местный пескарь; когда дорогу пешеходу или машине перебегает, прострачивая пыль, интеллигентски-сытенький и мальчишески-легкомысленный суслик; когда я, не впервые глядя на эти запустелые, выжженные солнцем холмы, такие неожиданные в наших, в общем-то, хлебных местах, снова и снова вспоминаю почему-то палестинские пейзажи Поленова. Не Христа, не людей – только печаль той дикой знойной природы.

Осенью – когда на растянувшихся вереницей возах спокойно и сыто, не подозревая о том, что они обречены, похрюкивают жирные кабаны, а в корзинках хозяек мелким цветом краснеют гребешки новобранцев-петушков; когда наш милый край насквозь пропахнет антоновкой, а молоденькая стройная рябина у стежки стоит, стыдливо клонясь под первыми румяными от счастья гроздьями.

Но зимой, в белой студеной мгле, я помню его, этот хутор, только с войны. Словно никогда больше и не видел – ни из саней, ни из машины, ни с хрусткой стежки.

Не с дней войны помню, а с ночей, еще точнее – с одной глухой метельной ночи...

Теперь лишь этот упрямый бедолага хутор доживает свой век в лощине меж холмов, которым, на хозяйский глаз, лучше бы снова, как прежде, зарасти сосняком. Все остальные хуторяне помаленьку вернулись в свой родной городок, откуда когда-то из тесноты улиц и переулков их выдворили комасаторы[7] буржуазной Польши.

Во время войны в городке были немецкий зондерфюрер и белорусский бургомистр, приезжие жандармы и местные полицаи. Опорный пункт фашизма, своеобразный маленький гарнизон. Под конец оккупации, как это делалось в таких гарнизонах, всем здоровым мужчинам, не спрашивая согласия, гитлеровцы роздали оружие, назвав их «самообороной». Из отборных извергов-полицаев был организован карательный эскадрон. На вышках, торчавших над проволочной оградой и бункерами гарнизона, стояли часовые с пулеметами.

Ближние хутора находились, таким образом, всегда на глазах у власти, почти в орбите прицельного огня.

По-разному мы, партизаны, «любили» эти хутора...

---

[7] От слова «комасация» – ликвидация чересполосицы, расселение на хутора.

На одном из них трех наших хлопцев, оставшихся у знакомого передневать, кто-то выдал. Они отстреливались и сгорели вместе с гумном. А хуторянина с семьей почему-то не расстреляли, а только вывезли в Германию, откуда он, кстати, и не вернулся…

На другом хуторе меня с товарищем накормила однажды ночью тихая, изможденная трудом женщина. Сама мать (в хате были еще муж, взрослая дочь и сын-подросток), она, понятное дело, и за своих боялась, и нас жалела самой обыденной и самой святой жалостью, какой немало мы видели от наших людей.

На третьем хуторе, чуть ли не самом близком к гарнизону, у нас был связной. Этакий малоприметной наружности дядька Журавель. Глаза и уши дядьки Журавля служили нам что-то с полгода, а потом он раз не явился на условное место, второй раз, третий… И мы поехали проверить.

Ночь выбрали для этого подходящую, когда, как говорится, добрый хозяин и собаку на двор не выгонит. Метель начала поскребывать да посвистывать с вечера.

С лошадьми, которых мы поставили в затишке за гумном, остался Ермаков. Туда Журавель послал сына подкинуть «бедной скотинке» сена. Самого дядьку Коля Щерба задержал для разговора в сенцах. А я зашел в хату.

Я был все-таки простужен, в чем окончательно убедился в пути. Тяжелая голова гудела, то в жар кидало, то в холод. Сегодня мне, дураку, не ехать надо было, а выпить чего-нибудь да пропотеть под кожухом…

Окна снаружи для тепла завешаны соломенными матами. В хате душно. Хозяйка – мы знали это из давних жалоб Журавля – была хворая; она лежала на печи и только время от времени шуршала чем-то за трубой, то ли из-за хвори своей, то ли от беспокойства. Тусклая, словно тоже испуганная, лампа примостилась на столике у широкой никелированной кровати. На кровати, прижавшись к стене, лежала чернявая молодичка, до самого рта натянув красное ватное одеяло. Отсюда, со второй подушки, встал недавно по нежданной тревоге хозяйский сын.

Две мысли промелькнули у меня в голове, когда я первый раз глянул на эту кровать. Одна – молодая, ревнивая – о тех, что здесь впотьмах обнимаются себе да шепчутся в тепле, когда на свете стужа и война; вторая мысль, неприятная, – о кровати: видно, этот никель двухспальный, такой шикарный в убогой тесноте, из приданого; видно, папаша невестки – мы знали уже, что она из городка, – приобрел это после ликвидации гетто…

Я глядел на молодичку, даже любовался ею, хоть и сквозь гриппозную одурь что видя, а что и воображая, и уже ненавидел ее совершенно нелепый, хотя, в конце концов, и понятный мне страх.

Она не просто была высоко, по самый рот, укрыта одеялом, но и придерживала его за край по обе стороны пухлых кукольных щек обеими руками. Руки («оголенные, точеные, теплые», – подумал я) были скрыты, а наверху лишь стиснутые пальчики, дважды по четыре, с каким-то детским и обидным отчаянием придерживали единственную защиту – принесенное в приданое одеяло.

– Что ж вы такая бледная? Почему?

Она наконец собралась с духом, проглотила слюну и тихо, еще не плача, спросила:

– А куда повели моего мужа?

Сюда, при таком близком соседстве хутора с гарнизоном, наш брат заглядывал очень редко. Я был, пожалуй, первый партизан, представший воочию перед этой девчонкой, которая пришла в хату, как мы сегодня узнали, три недели назад. Там, где она жила раньше, гитлеровцы для многих мещан, которых, как и всю Западную Белоруссию, двадцатый век приучил к частым сменам власти, были просто немцами, новыми панами, страшными для «восточников», для «жидков» и для тех, кто не слушался. А они теперь, после расправы с коммунистами и советским активом, жили далеко, по деревням, либо бежали в леса. Для этой, должно быть, веселой болтушки и попрыгуньи полицаи были не изменниками родины и ничтожными прислужниками врага, не убийцами и поджигателями, а прежде всего парнями, кавалерами, что увивались в клубе и за ней.

И вдруг здесь, в каком-нибудь километре от этого клуба, – партизан!..

Впрочем, в той среде, где она росла, о нас не говорили «партизаны». Я не был для нее одним из тех, кто по радио, которое мы слушали из Москвы, и в газетах, которые нам доставляли самолетами с Большой земли, уже на весь мир были названы народными мстителями. Не считала она меня и солдатом многомиллионной, не только советской, но и международной армии борцов с самой страшной бедой человечества – фашизмом. Я был для нее… мало того, что просто деревенский хам, но еще и бандит, один из тех, о которых она слышала и, возможно, читала уйму невероятных ужасов и гнусностей…

И вот я, бандит, стою над нею и уже, очевидно (так ей кажется), готов… хорошо, если только надругаться, а не то и замучить потом… А мужа увели!.. Куда?..

– Не бойтесь, он сейчас придет… Слышите, вот идет уже.

Мне и самому, пожалуй, было приятно, что он наконец вошел, растерянный, не очень веря, что сможет опять очутиться под одеялом…

– Ваши просили, товарищ, чтоб вы уже шли…

Я попрощался и вышел из хаты, не столько злой, сколько оскорбленный. Да, в моем возмущении таились боль и обида. Может быть, я немного раскис от простуды? Да нет, не то… Ведь я был тоже молодой, немногим старше этого перепуганного мужа, я не отсиживался, как он, под теплым крылом гарнизона, мне было чем гордиться, и мне было горько, что о нас, обо мне… Да ну их к черту! «В кривом глазу и прямое криво».

Обида и злость прорвались бранью лишь тогда, когда мы отъехали, погрузились в метельный мрак и Щерба рассказал, что Журавель наш христом-богом молит, отказывается быть связным. Невестки, говорит, боится: «В хате, хлопцы, чужой человек». Может, и правда боязно, а может быть, сдрейфил, виляет – нейтральным быть захотелось, чистеньким, как говорится, и перед немецкими и перед советскими…

Кто ездил верхом в завируху, да еще ночью, когда ни лошадь, ни ты дороги не видишь, тот знает, что это за сласть. Ты поднят над землей, а тысячи тысяч ветров один за другим с неисчерпаемым запасом злого веселья пронизывают тебя, беззащитного, насквозь. И снова, и опять, и без конца насквозь!.. Сечет лицо, колени прямо звенят. А мало тебе этого, мало вдобавок простуды, так получай еще и дурное настроение…

Хуторской дорогой нам надо было выбраться на большак, значительно правее городка, чтоб по большаку проскочить до деревни Мокрое, а там уже повернуть домой, в лес. Дороги, собственно говоря, не было, была заметенная, злобно взлохмаченная чистополица. Черти дерюгами дерутся. Но Щербин конь находил как-то путь. Коля пробирался первым, я за ним, а сзади Ермаков. Держались друг за другом, ближе, чем обычно, и, как всегда в пути, молчали. Сегодня даже и думать холодно.

Я думал об одном. Это уже и не дума была, не желание даже, а какая-то фата-моргана, видение тепла, уюта: горячего внутрь – и с головой под кожух! Я в это верил, не верил, снова, кажется, верил… Но это вело меня, и, ощущая опору в коне под собой, надеясь на товарищей, я плыл вперед, в беспредельную стужу и шум метели.

Конь мой наткнулся на лошадь Щербы. Я дернул левый повод и, поравнявшись с товарищем, приблизил лицо к его лицу, хотел

заглянуть, увидеть, чего он хочет.

– Ну, как ты? – крикнул мне Коля, как из-под подушки.

– Хреново, – ответил я с телеграфной скупостью, прикрыв рот от ветра.

– Га-ла́-ма-ла́-ба-ла! – снова крикнул он.

– Что? Не слыхать ни…

– Хутор, говорю. Во, справа!..

Я понял: до Мокрого еще далеко, надо заехать сюда.

Правда, нам и Журавель намекнул – не перекусить ли, да там не захотелось: и настроения не было, и не рассиживаться же под самым носом у полицаев. Да и просил он… Именно только намекнул.

Так мы заехали тогда на этот теперь уже одинокий хутор в лощине.

Теперь одинокий… Тогда же, когда мы подъезжали к нему, он был единственный во всем мире. Как островок, к которому мы подплыли, чтоб взобраться наконец на скользкий, обрывистый берег, почуять наконец землю под ногами, вздохнуть, оглядеться, поразмыслить, что же дальше…»

Так думал я. Хлопцам просто погреться хотелось, перекусить. Ну, и меня им, конечно, было жалко.

Я не настолько, однако, раскис. Слезши с коня, я первый подошел к темному окну и постучал в стекло. Ни звука, ни шелеста. Может быть, я не слышу? Постучал еще. Тут и Щерба мне помог, тряхнув всю раму своим кулачищем.

– Идет! – крикнул он, наклонившись ко мне. Крикнул громче, чем надо, потому что здесь, за ветром, было тише.

Мы жили по законам своего времени, и мысли о том, вежливо-невежливо вот так колотить среди ночи в чужое окно, не было. Мы даже разозлились и имели право на эту злость. Может, здесь тоже отлеживается какой-нибудь тепленький, непуганый муж или нейтральный, чистенький свекор… Подумаешь, нарушили его покой!.. Еще и прикидывается, байбак, что спит.

Я стоял у самой двери, слышал уже, что за нею кто-то шарит рукой по доскам, нащупывая засов. Я держал перед собой… да нет, не автомат, а фонарик, пока не включенный. Засов наконец отодвинулся, щелкнула клямка, и дверь отворилась.

Вспыхнул фонарик.

Я заранее представил себе этот момент (в моем состоянии естественно было это себе представить), как увижу уже не заспанное, уже испуганное лицо хуторянина, который тут-то и отдаст свою дань, внесет свой великий вклад во всенародную борьбу – отпустит нам

полчасика домашнего тепла, чего-нибудь поесть и одному чем-нибудь подлечиться. Уж вы извините, что мы полюбуемся вами вот так, на виду!..

Но в луче фонарика стояла за порогом светлая, в одной рубашонке девочка лет десяти. Ослепленная лучом, она закрылась левой рукой, прижав запястье ко лбу, и из-под руки, мигая, глядела на нас.

– Кто еще дома?

– Я и Толик. Мама к тетке Ганне пошла, а то она хворая.

– Почему не открывала?.. Батька где?

Девочка отняла ото лба левую руку, открыла лицо, а правой со странной для этого возраста – не то чтоб от бабули перенятой, а какой-то старушечьей от себя, – величайшей, может быть, последней в жизни серьезностью размашисто перекрестилась.

– Воймяца, и сына, и святого духа, аминь. Дядечки, ей-богу же, не слышала. А таты у нас давно нету. Еще с польской войны.

Это было так страшно… Нет, так необычно и неожиданно, и это так перевернуло всего меня, что я… чуть не всхлипнул.

– Ты запирайся. Ну! Беги на печь. К Толику.

Фонарик погас.

Дверь затворилась. Снова брякнул железом засов.

Мы молча сели и поехали.

…Уже не однажды за двадцать лет мог бы я свернуть с большака на этот хутор – поглядеть, что выросло из нее, той маленькой женщины. Неужто же она, став женой и хозяйкой, так прижилась здесь, что никак не хочет перебраться ни в городок, ни в Мокрое? А может быть, кто-нибудь давно уже завез ее в далекое замужье – далекое по-нынешнему, не в третью деревню, а за тысячи три километров…

Я мог бы, разумеется, зайти, поглядеть, а не то и вспомнить вместе. Да не зашел. И не зайду. Не хочу.

Пускай она стоит в моей памяти такой, как была, – в белой студеной мгле, в ярком кругу света, в короткой льняной рубашонке…

Только пускай не боится нас, тех, что и в завируху не спят из-за нее, ради таких, как она.

Я не успел ей это сказать: ребенку было холодно.

Глядите на траву

На солнечно-искристом снежном сугробе сидит и время от времени гавкает щенок. За ним, поодаль и как бы в яме, виден серый

треугольник торца одинокого на пустой усадьбе погреба. Над погребом – солнце. То, что лишь светит и не поднимается высоко.

Декабрь. Год сорок третий.

Какая давнина́ – почти четверть века прошло.

И пустяковина какая – на снежном сугробе щенок…

…Его ребячий радостный брёх я слышу сквозь гул и дребезжание небольшого, видавшего виды автобуса, который ползет по гравийке, с надоедливым, упрямым старанием пересчитывая ямы и ямки.

Рядом со мной долдонит сосед по сиденью. Он подвыпил, смел и общителен, слюна так и брызжет, небритая морда. Еще румяная. Видно, не только от перекуски в райцентре. Хотя и в годах он, да, кажется, очень давно, этот хромой здоровяк, – с тех пор, как я ходил в их деревню в школу.

Зачем же так грубо о человеке: «небритая морда»?..

Мы только что встретились с ним в ресторане и там же только что расстались с его односельчанами. Воскресенье, они посидят: надо добрать. Втроем. Знакомы мне еще со школьной скамьи и чужие уже целую вечность.

Когда я вошел в ресторан, они смутили меня радушной, пьяной разноголосицей:

– Зачем тебе в буфет? Что, у нас не та же самая?

– Браток, добавим! Девушка, сюда!

– Ну, ты не сядешь, известно!

Один из них, Сметана, который когда-то в школе умел не только ходить, но и бегать на руках, даже сказал, кивнув на мой корреспондентский аппарат:

– Снял бы нас, Васька Андреевич! Хоть отрицательных!

Неожиданная встреча была так неприятна, что я и пива не выпил в буфете, только взял не очень нужные мне сигареты, лишь бы поскорей выбраться из духоты и галдежа на улицу.

– Оно, конечно, товарищ Зенько, это вам не компания. Хотя, как вы и сами не хуже меня знаете, и в полиции были разные. Иные там…

Хромой сел рядом со мной, будто бы просто занял свободное место. И заговорил первый, как те трое, осмелев от чарки. С ним я уже встречался несколько раз после войны, но он лишь здоровался со мной, даже шапку снимал с какой-то фальшивой, подчеркнутой и униженной предупредительностью, однако никогда не заговаривал.

– Вот хоть бы этот Митька Сметана. Скажем, он тоже полицай. Но ведь не первый же он туда пошел! Силой оружия взяли. И эти оба: Вечер и Максимук. Против рожна, товарищ Зенько, не попрешь.

Каждая власть…

Сосед мне неприятен. Молчал бы он лучше, а я бы глядел в окно. Рожь цветет, ходит волнами, столько зелени вокруг. «Глядите на траву – пускай на зеленом отдохнут глаза». Вспоминается давнее, из предвоенной еще службы в армии: слова сержанта на стрельбище. Глаза уже приустали за эти годы. И сердцу хорошо бы отдохнуть и успокоиться. После тревог, перед тревогами. Дорога успокаивает. Вот только он, черт его знает зачем, бубнит давно уже мне известное…

В их большой деревне, которая благодаря церкви и двум-трем лавкам издавна привыкла считать себя местечком, во время оккупации стоял фашистский гарнизон. «Сила оружия» была поначалу у тех двух немецких жандармов, что приехали в это… ну пускай местечко из районного городка. Что-то сразу, в июле сорок первого. Они уже, впрочем, были не одни, оккупанты, а с помощниками. Два полицая и переводчик. Полицаи еще ходили в своей одежде, только неуклюже подпоясанные поверх пиджаков патронташами, с белыми повязками на рукавах, и назывались «службой порядка». Один из них местечку был знаком: шофер Нашо́ра, тот, что возил председателя райсовета. Переводчика тоже признали: Шлемы-телятника сын, который учился на адвоката. Он был, само собой, без винтовки, с желтыми заплатками на груди и на спине и все словно ждал, с какой стороны ударят, хотя оглянуться боялся. И когда говорил и когда молчал.

– Кто у нас пошел тогда сразу в полицию? Первым – Басала́й, Алены Конашевой байстрючок. Сами, товарищ Зенько, не хуже меня знаете – голодранец и воришка на все местечко. Ему убить, украсть, поджечь – что нам с вами воды в жару напиться. А Гусакович, тот же в советской милиции служил, так забоялся, что активист, прицепятся немцы, тоже записался тогда. Оно, коли подумать, разве ж мог кто ожидать, что будет столько крови. А порядок…

Гусаковича летом сорок третьего, тогда он был уже комендантом, наши хлопцы сняли с велосипеда среди бела дня в двух километрах от гарнизона. Без шапки ехал, кудрявый, с автоматом на груди. За ним – пятнадцать подчиненных. Веселые, смелые все, победители. На днях закончилась блокада пущи, и партизанские деревни на подступах к ней были до крови растоптаны сапогами, копытами, гусеницами танкеток, умолкли и почернели от огня. И партизаны затихли наконец: кого ж тут бояться?.. Гусаковичу, как самому заслуженному, даже с медалью на черном мундире, досталась первая, сигнальная очередь. Хватило там на всех пятнадцать…

– А потом первые стали брать других, для компании. Кого

уговорами, а кого так и силой. Вот как моего Сережку. Вы же сами, товарищ Зенько, не хуже моего знаете. Ведь он был еще дитё горемычное. Постарше и то…

…Именно тут из глубин моей памяти впервые выплывает снежный сугроб под низким солнцем и звонкий брёх щенка, что вскоре станет взрослым псом. Пестрый, черное с белым. Одно ухо молодецки завернуто. А он себе, дурачина, гавкает. Рад, что живет…

Сугроб намело в том месте, где еще осенью стояла хата. Она сгорела от шальной пули. Большаком ехала полиция, одному захотелось стрельнуть, пуля оказалась трассирующей. Ну, загорелось, подумаешь! И хорошо: больше будут бояться!..

Для дядьки Петруся, хозяина той хаты, это было не первое горе. Летом его зятя, что жил на хуторе за выгоном, кто-то выдал как партизанского связного. Приехали не только «бобики» – полицаи, но и немцы, не из местечка, а из городка, забрали всю семью, кто в чем был, и увезли. Хату и все постройки, как они всегда делали, спалили. Только и доведался дядька Петрусь, что зятевых стариков, свата Романа и сватью Теклю, чтоб зря не везти хворых в неметчину, застрелили сразу. А Лиды с малыми и Миколая нету.

Примерно за год до того тихий, единственный сын дядьки Петруся, сапожник Аркадик, помер. Он и сапожничал-то на дому оттого, что тяжелой работы делать не мог, болея чуть ли не с детства. А тихим был не только из-за чахотки, а по характеру – тихий, умный хлопец и даже – в отца – веселый. Нешумно веселый, по слабости, с добродушной улыбкой.

Дядька Петрусь был шутник. Я его помню сызмала. И сколько помню, столько он бедовал и шутил.

До этого пожара он погорел было еще почище, даже и погреба тогда не осталось. Незадолго до смерти Аркадика умерла жена, а еще раньше – старший сын, Михаль, тоже уже взрослым парнем. Ну, а вечные нехватки да тяжкий труд, что на себя, что на других, – это уж и не в счет. А он был, казалось, всегда веселый, все выдумывал что-то.

Мы жили по соседству, и они, когда погорели, зимовали у нас. Пошел он в первое утро после пожара к горькому своему гнезду, постоял перед печью, что одна уцелела, пришел и говорит женке:

– А куры наши в подпечке квохчут! Пойди-ка, Алена, посыпь им чего. Время-то позднее!..

Померла тетка Алена, так он сам после похорон отвозил попа. Был у нас такой поп, здоровила и грубиян, любил выпить, а в прежнем приходе и к бабе какой-то, говорили, хаживал, так у нас его называли Распутин. Повез его дядька Петрусь и горе горем, а не

выдержал-таки: будто ненароком, опрокинулся с батюшкой в сугроб.

– Дал мне Распутин молебен, так уж дал!..

Даже когда помер Аркадик и дядька остался в хате один, потому что Лида была уже замужем, старик натуре своей не изменил. Встретил я его как-то на тропке за гумнами и не успел спросить, откуда, как он сам сказал мне:

– К Аркадею ходил. Что ни спрошу, ничего, шельма, не хочет говорить!..

А ведь зачастую видели, плакал он на могиле. Однажды так и заснул, обхватив зеленый холмик руками.

Чем больше била человека лихая судьбина, тем труднее было ему делать веселый вид. Когда забрали немцы дочку с малышами и зятя, старик умолк и, кажется, вовсе сдал.

У Лиды был сынок, который на потеху деду не выговаривал еще как следует свое имя, – большеротый, смешливый Уван. Была и внучка Соня, пискля в пеленках, не больно много веселья. А внука дядька Петрусь, оставшись в одиночестве, очень полюбил. Дед то туда, на хутор, топает – по делу какому-нибудь или больше так, то он Увана в деревню несет, по выгону стежкой среди кочек; он с ним разговаривает, как со взрослым, расхаживая по двору, или они в хате раскорячатся друг перед другом на четвереньках и гавкают и хохочут – хоть ты обоих ставь в угол на колени.

Потом у них нашелся для забавы славный помощник – пузато-пестрое тепленькое щеня. С собой, когда шел на хутор, дед его не брал: говорил, что сам Тюлик не добежит, а нести его, стервеца, на руках не хочется. Это была неправда, просто хитрость такая: чтоб Увана еще больше тянуло в деревню к деду.

Летом в сорок третьем один Тюлик остался у дядьки Петруся.

– Только всего, брат Василь, и родни, – все еще пытался шутить старик, когда я как-то ночью осенью зашел с хлопцами в нашу деревню и заглянул к нему в его погреб.

Щенок между тем к зиме подрос, и хозяин стал его на день для порядка привязывать. Тюлик канючил около будки, дергая цепь, скулил на голоса такую слезную литанию, что тесно становилось на весьма просторном после пожара дворе. Когда старик проходил мимо, щенок струной натягивал привязь и был бесконечно счастлив, если удавалось верноподданно обхватить двумя лапами толстое дедово колено с большой растрепанной дыркой на грязной посконе. Слуга повизгивал, а пан вслух переводил с собачьего языка его причитания:

– А хозяюшко мой, а родненький! А сколько хочешь возьми – деньгами ли, житом ли, только спусти!..

Было так, правда, лишь однажды. Смеясь над Тюликом, гладя его по голове да по спине, дядька Петрусь вдруг что-то вспомнил. Ткнул пса огромной постолой из автомобильной покрышки, а сам отошел к ненужному теперь забору, который отчего-то не сгорел, и отвернулся, чтоб даже собака не видела, почему он молчит...

Тюлик был еще глупый. Все собаки в деревне уже давно привыкли затихать и забиваться в будки, чуть услышат выстрел. Днем – фашистский, ночью – наш. А он не разбирался, гавкал. Весело! Днем да еще не на привязи – особенно...

...Воспоминание это тепло и горько всплыло в моей памяти, под гул и дребезжание автобуса, под гомон пассажиров, под неотвязное гудение соседа.

– А где ваш сын теперь? – спросил я, чтоб хоть этим заткнуть его пьяную рацею.

Да не заткнул.

– Слава богу, работает в шахтах, товарищ Зенько. Уже два раза в гости приезжал. Может, и нынче, коли отпуск дадут, приедет. Женка русская, ничего молодица, хоть и восточная. Откуда-то оттуль, из Сибири. Двоечко деток, покуль что девчатки...

– Пожалуй, и под шляпэ́?

– Нет, он в кепке. Костюм-то добрый, новенький. При галстуке, а вот...

– И сало есть?

– Гладкий ли, говорите? А что ж, заробляе он, Сережка, хорошо, не пьет. Сами вы не хуже меня знаете, товарищ Зенько, коли копейку уважать...

...На улице моей деревни перед щенком на сугробе этот старательный нынешний шахтер стоял тогда без галстука. И не в черных щуцманских обносках. Им, полицаям, в ту зиму выдали белые, чуть голубоватые бушлаты. С капюшонами, которые в хорошую погоду откидывались на спину. Стоял он, глядя на солнце, на собаку, которая лает и не боится... Хлопец еще молоденький, по-зимнему румяный. Черное кепи чуть набекрень. Даже красивый.

Он был, разумеется, не один.

Рядом стояли сам герр вахтмейстер и сам комендант.

Пожилой, обрюзглый Трайбер, жандарм, уже отяжелевший от людской крови. Он третий год выполняет у черта на куличках волю своих бесчисленных фюреров во главе с одним, самым главным, в недосягаемой вышине. Выполняет, может быть, если не столь убежденно, то все еще безотказно, а, пожалуй, думая уже лишь о том, как бы это поскорее отсюда выбраться. Что же касается

ответственности, если уж не говорить о человеческой совести, – на это есть начальство, фюреры. Так спокон веку привыкли думать солдаты, а Трайбер считал себя только немецким солдатом, еще с первой мировой войны.

Высокий и дородный Нашора – даже сутулится от не знающей пощады силы, – один из самых первых в наших краях полицаев, после смерти Гусаковича пришел из городка в местечко комендантом. Нельзя сказать, чтобы и у него не было никакого мировоззрения. Тот, кого он когда-то возил, председатель райсовета, стал командиром бригады. Дважды товарищ комбриг пытался пробиться к сердцу или уму своего бывшего водителя (послал ему через разведку два больших письма), и просто обращаясь к его человеческим чувствам, и прибегая к популярной убедительной политграмоте. На одно письмо комендант не ответил, второму повезло. Ответ, надо думать, был написан втайне от Трайбера: ни «свободной Европы», ни «освобожденной Вайсрутении» там не было. Письмо и начиналось и кончалось корявой бранью, в которую толстым слоем были обернуты шесть слов Нашоровой жизненной философии: «Раньше ты пановал, теперь я попаную». С его стороны это было уже проявление и смелости и самостоятельности. Правда, после Сталинграда, Курской дуги, прорыва на Украине и особенно освобождения Гомеля – всего ближе! – у Нашоры, когда и к нему в тишине одиночества приходили кое-какие раздумья, начинали подчас мурашки по коже бегать. У этой животины спина не была защищена шерстью. Немцы его хвалили, наградили двумя медалями, но в душе (если уж говорить о фашистской душе) презирали его, как и всех «недочеловеков», и пользовались этим ошметком по необходимости и до времени. А у самого Нашоры, который сперва восторгался и немцами и всем немецким – сила, порядок! – в редкие просветы между опьянением алкоголем и кровью прокрадывалась в голову мысль, что и им, видно, не справиться с большевиками. Но это «не справиться» было еще, казалось ему, далеко.

Для этих двоих, вахтмейстера и коменданта, тот день был самым обычным, будничным. Просто проветриться выехали из-за колючей проволоки в одну из ближних деревень, ну, и взять пару подсвинков. Вокруг деревни стоят посты, команда ходит по хлевам, а штаб в это время скучает. Шли себе по улице, теперь остановились перед собакой.

Трайбер словно дремлет, глядя на солнце; Нашора терпеливо состоит при нем; еще, кажется, чуть-чуть – и зевнет, вывихивая челюсти, даже и без приказа. Молчат.

Весел только юный новичок. То ли он охрана, то ли связной, то ли любимец обоих или одного из них – это неважно. Важнее всего то, что он всему рад. Жизни, молодости, своему такому чистому еще бушлату, их «силе оружия». Совсем недавно он был просто оголец, сын калеки, – его и самого в школе однолетки бездумно и обидно обзывали «Кульга́ч»[8] а теперь он, «как и все» в их местечке, «как люди». Хотя за полтора месяца его службы и не было пока серьезных операций, он уже дважды пил ром, который им, полиции, выдают время от времени и который он раньше только видел издалека. Одураченный мальчишка, он был прежде всего пьян от первой чарки полной власти над жизнью и смертью людей, думающих иначе, чем он, пьян своим превосходством над ними, свободой, даже приказом делать что хочешь, лишь бы вместе с теми, с кем служишь, – пьян своим неосознанным, только зародившимся, еще сладким и хмельным фашизмом. Парень притопывает, переступает с ноги на ногу, чуть ли не повизгивает…

Щенок на сугробе сидит перед ними с лихо закинутым ухом, смотрит на людей – для него они люди – и время от времени весело взлаивает.

Пареньку в белом бушлате тоже хочется что-нибудь сказать или сделать…

– Мой Сережка, – под гул и дребезжание автобуса плетет рядом со мной подвыпивший сосед, – он хлопец был неплохой. Он, товарищ Зенько, людям вреда никакого не делал. Он иной раз…

…Сонный вахтмейстер наконец заговорил.

– Der Hund ist noch ganz jung und dumm[9], – буркнул он вяло, без намека на улыбку.

Из всей этой премудрости Нашора понял толком лишь слово «хунд».

– Ё, ё, – поддакнул он. – Хунд. Еще и гавкает, бандитская порода!

И засмеялся, коротко и басовито гыкнул: отчасти по службе, чуть-чуть по дружбе, больше – довольный удачным ответом.

– А может, я его?.. – спросил хлопец, поощренный этой шуткой начальника.

– Сережа шисен[10], гут? – передал выше его просьбу, упование, несмелую радость комендант.

---

[8] Кульгач – колченогий.

[9] Пес еще совсем молодой и глупый (нем.).

[10] Стрелять (нем.).

– Scheissegal[11].

Это слово Нашора давно научился понимать.

– Давай, – перевел он разрешение. – Поглядим, что ты за стрелок. Да уже и домой собираться пора. Сигналь.

Какое это счастье – вот так, чувствуя в руках веселую силу, нацелиться, подвести снизу… так… решительно, зажмурив левый глаз, взять на мушку, нажать и…

– Его, кабы это теперь, – доносится голос хромого папаши, – так, может, и не судили бы, товарищ Зенько. А тогда сразу, известно, под горячую руку, дали десять лет. Как и Сметане, как и Вечеру, как…

…Выстрел разорвал тишину нежданно.

Хотя я и ожидал его…

Да, я лежал на чердаке ближней хаты. Не один, с товарищем. И мы смотрели на них сквозь щели в досках, сквозь голые ветки сирени в палисадничке. Они были так близко, что стоило лишь стать к оконцу, раз повести автоматом – получай и вахтмейстера, и коменданта, и этого сопляка. Мысли этой мы, конечно, ходу не дали. Мы тогда в деревне дневали вдвоем, а их собралась целая стая. Если б мы рискнули собой, погибла б деревня. Да и собою – из-за этих?.. Мы только смотрели.

Пестрый милый щенок, оборвав новый приступ веселого лая, мягко осел.

Позднее, когда жандарм и «бобики» ушли, дядька Петрусь – он вышел из своего погреба раньше, на выстрел, – подошел к Тюлику, тепло которого уже ушло кровью в снег, поднял его за загривок и унес.

Старик не знал, что я это видел…

…Может быть, теперь, через столько лет, и я не очень сурово судил бы этого «Сережку, что не делал вреда». Он, я знал это, и в самом деле силой был взят и не успел или не сумел вырасти в какого-нибудь Гусаковича или Нашору. Однако у меня долго, еще и после войны, жило в руках до зуда нестерпимое желание… Вот так бы их, обеими руками, поднять над красным снегом за белый, голубоватый бушлатный загривок: и тех, кто издалека явился, и тех, кто сам за ними пошел, и тех, что кивают на «силу оружия».

Я отвернулся к окну. И, глядя на зелень яровых, на луг и дальше, за лугом, на молодой, веселый на солнце березняк, снова вспомнил, хотя и с горькой усмешкой:

«Глядите на траву…»

---

[11] Наплевать (нем.).